Р 604
355698

РОДИНЕ

Литературный сборник

ОГИЗ

Саратовское областное
государственное
издательство
1943

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Моисей Штурман—Сталин. Стихотворение 3

Виктор Тимохин—На зов вождя. Стихотворение 4

А. Фокин—Его жизнь. Очерк 5

Александр Матвеенко—Казаки. Рассказ 10

Александр Атавин—Баллада. Стихотворение 33

С. Радзиевская—Витюк. Рассказ. 35

Александр Джевальский—Бей врага! Стихотворение 42

Исай Тобольский—Он умирал. Стихотворение 43

М. Поликарпов—Пятидесятый из отряда. Рассказ-быль 44

С. Розанов—Николка. Рассказ 47

Б. Неводов 52

Н. Корол 56

И. Кипн 57

Моисей Штурман

СТАЛИН

Это слово —
нашей силы вестник,
И в столице
и в глухом селе;
Это слово — знамя,
буря,
песня —
в небесах,
на море,
на земле.
Это слово —
приговор тиранам,
кровопийцам,
злобным палачам,
Диким ордам,
черным атаманам,
Всем, кто смертью угрожает нам.
Это слово —
строй, к боям готовый,
И призыв —
свою страну беречь.
Для друзей, —
как солнце, это слово
Для врагов оно —
разящий меч.

Перевод с еврейского
Ник. Ушакова

355698
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Виктор Тимохин

НА ЗОВ ВОЖДЯ

Навстречу испытаниям суровым,
На бой с врагом поднялся весь народ.
Вождя родного пламенное слово
Нас к мужеству и подвигам зовет.
На зов вождя еще теснее сплотились,
Решимость тверже и острее взгляд.
Еще сильнее наши эскадрильи
Фашистских гадов с воздуха громят.
Где враг прошел — там зарево пожаров,
Там произвол, насилье и разбой.
Сметем врага решительным ударом —
Огнем, штыком, машиной броневой.
Мы каждый день победой отмечаем,
Мы крепче и сильнее с каждым днем.
И в полный рост стоит страна родная
В величии, в могуществе своем.
Мы знаем: угнетенные народы
С надеждой в сердце за борьбой следят.
Мы принесем им счастье и свободу
Под знаменем великого вождя.
Из нас любой одним стремленьем полон:
Быть впереди и победить в бою —
За наши нивы,
города и села,
За Сталина,
за Родину свою!

А. Фокин

ЕГО ЖИЗНЬ

1

Озорное, задорное детство.

Нигде и никогда не забываемая волжская пристань.

Родной Саратов!

Вот он стоит на обрывистом берегу широко раскинувшейся Волги.

Посмотришь пристальней и видишь сверкающие рельсы Рязано-Уральской дороги. Здесь, в этом раз и навсегда завязанном стальном узле, был вплетен и путь семьи железнодорожника. Нелегкий путь.

Кочевал дорожный мастер со своей семьей по Рязано-Уральской дороге. Перебирался с места на место. Перебивался с куска на кусок, но не опускал головы. Нанимался со всем своим табором: разгружал дрова на станции, грузил баржи на пристани, не падал духом. Верил, что придет время — и он выпрямится, расправит плечи и полной грудью вздохнет. Свершилась Октябрьская революция, железнодорожник стал чекистом, потом членом революционного трибунала на ст. Саратов, а позднее—комиссаром на своей Рязано-Уральской дороге. Свободно вздохнула семья. Зазвенели голоса детворы. Стали светлее, просторнее будни тружеников.

Веселым и смелым рос сын Николай.

Волга рядом. С крутого обрывистого берега срывался он на лыжах и, подхваченный свистящим ветром, летел в серебристые сугробы... Летом, в знойный июньский день, с разбега бросался в набегающие пенистые волны... Еще не окончена школа, а белоголовый паренек уже приглядывается, прислушивается к старшим, хмурит свои тугие брови. И когда парни, ростом на целую голову выше, собрались в Донбасс, пустился в путь и Николай вместе с ними.

Тяжелый труд углекопа.

Но проходит год. Побронзовело совсем еще юное лицо, стала крепкой хватка шахтера, стала твердой поступь волжанина. С годами усилилась тяга к простору: тянет к берегам до боли родной Волги... А другая, неукротимая, еще неосознанная тяга неудержимо тянет ввысь за облака...

...Пришел призывной 1929 год. Углекоп оставляет отбойный молоток и берет в руки другое оружие—пулемет. Минует полгода—без меры, без края радость захлестывает с головой: Николая Сдобнова направляют в летную школу.

Сбывается то, что вчера еще казалось мечтой.

Воздух. Неба безбрежного простор. Необъятная ширь горизонта. Вот она, всепобеждающая стихия летчика! Новые, проложенные на сотни верст, поблескивающие шоссейные дороги, переброшенные радугами через голубые реки, белеющие мосты, меняющие свое пестрое оперение деревни и села, вырастающие до самых звезд стройные города, одетые в леса стропил, в кирпичах, цементе, щебне и песке, в веселой перекличке молотков и в сверкании поющих пил,—под крылом проходит государство! Уже покрыты десятки тысяч километров сверкающими крыльями... И когда стройный, прекрасный наш Ленинград, этот рыцарь революции, встал, затемненный в декабре, над скованной снежной Невой, — капитан снова поднимается в воздух!

...В угрюмых высоких скалах острова «Тапуран-Сарри» белофинны воздвигли железобетонные укрепления. Тремя кольцами минных полей были опоясаны льды вокруг этого острова, охраняющего подступы к Выборгу со стороны залива. Красные воины подходили к крепости. Разгромленные форты и доты «Линии Маннергейма» остались позади. Нужно было с воздуха уничтожить дальнобойную морскую артиллерию, взорвать склады боеприпасов на острове и этим обеспечить наземным частям успех штурма. Командир со своей эскадрильей сквозь лай остервенелых зениток проложил дорогу к победе своей пехоте. «Неприступный» остров был взят,— путь на Выборг открыт.

В Кремле Родина вручила своему защитнику орден Красного Знамени—награду за 52 вылета, за мужество, за отвагу.

Завоеван мир. Завоевана безопасность Ленинграда. Можно продолжить прерванный труд. В квартире у капитана целая мастерская. Изобретатель снова за верстаком.

Он уже не юноша, не тот гармонист-весельчак, не тот юный строитель, у которого швейная ножная машина выпиливала по металлу причудливые узоры,—ветряная мельница била крыльями и давала энергию для радиоприемника, а бумажный змей кружил над городом в непостижимой голубизне. Стал острее взор, сдержаннее речь. Приобретен опыт. Кое-что надо изменить, исправить, многое доработать, дополнить в воздушных кораблях. И мысль изобретателя приходит на подмогу.

...Но косматыми зарницами опалена звонкая украинская ночь...

Ветер согнутыми косами огня валит высокие травы. Разбужен погруженный с головой в пышную зелень белокаменный Киев. Бьют крылом лебеди на озерах. Плачут перепуганные дети. Охваченные тревогой, мечутся женщины в разор-

ванной заревом, взлохмаченной тьме. Кованый сапог кровавого фашистского полчища ступил на залитую солнцем цветущую землю... Но не дрогнули ее защитники. Бьются у пограничных столбов, истекая кровью, падают, раскинув руки, на поваленную, затоптанную и запыленную траву...

...Дорого отдают врагу каждую пядь земли красные воины. Жестоко бьются в неравной схватке, отходят назад, оставляют родные села...

Но слышат матери сквозь воющий ветер пожарищ голос своих сыновей: «Ждите нас,—мы скоро вернемся!..» И подымают седые матери красные от слез глаза на одетого в серую шинель воина... Видит все это капитан. Ждет вылета. И вот получен приказ: рассеять танковую колонну в районе Б. Стремительным ударом звено бомбардировщиков уничтожает 25 бронированных громад... Но на обратном пути, подкараулив, набрасываются стервятники... Горстка храбрецов не дрогнула. Ударил свистящими струями огненный ливень... Качнулся, задымился и, охваченный пламенем, рухнул на землю один, за ним, после короткой, но жаркой схватки, другой стервятник.

Но загорелось крыло. Лохматый черный дым валит в кабину. Кровь стучит в висках. Воздуха, свежего воздуха нехватает летчику.

Неужели выбрасываться с парашютом, отдавать себя и товарищей на растерзание волчьим стаям? Неужели гибель? Конец? Конец всему? На врага подымутся еще неоперившиеся орлята, им нужно так много сказать, так много передать из долголетнего опыта,—чтобы не дрогнули в жестоких воздушных боях, чтобы без промаха наносили удары врагу.

Неужели он не увидит эти, обугленные сейчас, березы после войны, весной, на заре, когда они зацветут и зашумят у синей днепровской воды?.. Нет! Не может он погибнуть! Он должен, пусть калекой, но должен жить. Не для себя — для победы должен жить. Качнулась, накренилась машина. Задымил и заглох правый мотор. Бьют зенитки. Надо немедленно собрать все силы и не дать самолету сорваться в штопор.

Летчик задыхается... потемнело в глазах... Горячий, едкий дым сдавил горло, душит...Отчаянным движением капитан срывает над головой аварийный колпак. Ветер, студеный свистящий ветер бьет в лицо! Руки в мертвой хватке держат штурвал... И командир приводит на свою родную землю горящий самолет...

Жизнь, так нужная для победы, вырвана у смерти!

И началась боевая страда капитана Николая Андреевича Сдобнова. Ни зенитные орудия, ни стаи подкарауливающих из-за облаков стервятников,—ничто не останавливает бес-

страшного воина.—Вылет. Удар. Возвращение. И снова вылет.

И снова удар!

...Под крылом проносятся полыхающие деревни, проходят разрушенные, совсем еще юные города. Горе родной земли леденит кровь, жгучая ненависть перехватывает дыхание...

До режущей боли напрягая взор, всматривается капитан в бегущие дороги, отыскивает цель и — рушит хвостовые завывающие бомбы на цистерны, на танки—на голову врага.

Враг коварен. Он рыщет по синему небу, высматривает добычу и, подкравшись из-за леса, набрасывается черной стаей на наш аэродром.

Страшен внезапный удар. с воздуха, страшны воющие бомбы.

На дыбы поднимается взлохмаченная земля. Горят машины, пламя бьет в небо. А в кабинах, в тяжелых комбинезонах, с парашютами, затянутые в ремни, — летчики, не успевшие взлететь. Они захлестнуты с головой полыхающим пламенем. Сейчас начнут рваться бомбы в самолетах и погибнут, навсегда умолкнут звонкие юные голоса. Броситься на помощь— задохнешься, сгоришь, погибнешь.

Но он бросился и одного за другим вырвал из огня своих товарищей...

Вечерело.

Капитан вел 4 бомбардировщика. В двух километрах от цели с земли ударили орудия. Снаряд пробивает фюзеляж и, не взорвавшись, проходит между летчиком и штурманом. Град осколков металла, вырванного из самолета, бьет в лицо. Нестерпимая острая боль бритвой полоснула по глазам. На одно мгновение разбитым вдребезги зеркалом в кабине вспыхивает слепящий свет и потом—темень, кромешная темень.

Обвал. Машина проваливается. Вот ее подбросило и швырнуло в сторону. Но летчик оторвал окровавленные руки от лица, железной хваткой схватил штурвал. Минута нечеловеческой борьбы с законами воздуха,—и ведущий самолет стремительно идет к цели! Но вот другой снаряд выводит из строя левый мотор. Орудия обкладывают борта раненого воздушного корабля охапками зенитного огня. Прекратить полет, вернуться назад с бомбами, когда цель совсем рядом?

Нет и нет! Сквозь лай и скрежет остервеневших пулеметов, пусть обгоревшим, калекой,—но вперед, только вперед,— к цели!

И отважный командир пробился, прорвался сквозь стену зенитного огня и обрушил страшный, потрясший землю бомбовый удар!

Теперь—домой. Дотянуть, добраться до своих!

Но что это?

Один, другой... Сколько их? Пять «Мессершмиттов» на один подбитый бомбардировщик. Вот их метод борьбы: из-за угла, прикрываясь лохмотьями туч.

«Вояки». Пять против одного. Что же, у врага перевес. Только жизнь у большевиков не отдается даром! Кровью, черной кровью за нее заплатит враг! Накалились стволы пулеметов, огонь летит с пулями. Обжигает руки. А пальцы не оторвать от гашетки. Короткая, но жестокая схватка и—два черных пирата рухнули на землю, а третий с резким разворотом пошел в болото...

Бить больше нечем. Все патроны. Замолк второй мотор. Сорвется самолет в штопор—гибель. Но бесстрашие, отвага и на этот раз спасают жизнь экипажу.

Пусть пробит снарядами, изрешечен пулями, пускай погнуты винты и ободрана грудь,—самолет посажен! Суровые, молчаливые в воздухе—летчики неузнаваемы на земле: выбравшись из кабин, машут шлемами, обнимают друг друга. Радость, без меры радость захлестнула их!

Они не погибли. Есть ранения, ожоги, порезы,—все залечится и можно будет снова подняться ввысь! Каких-нибудь десять минут назад рвались снаряды, с огнем летели свистящие пули, полыхал жестокий воздушный бой. И вот хлопанье, плеск крыльев, трепет вспугнутых голубей над головой...

Жизнь!

Горный, рвущийся к простору, непокорный стремительный поток, которому не преградят путь и которого не остановят ни утесы, ни снежные обвалы.

Жизнь бесстрашного крылатого воина, жизнь человека, который всегда выходил победителем в воздухе, в жестоких схватках с врагом, у кого в каждом дерзком подвиге — вся наша необъятная земля, грядущее нашей родины, разве можно такую жизнь рассказать?

Вот он стоит, этот, невысокого роста, коренастый, по-волжски скроенный человек. Вокруг него молодые дерзкие орлята. Окружили, сгрудились. Застыли. Слушают. Попробуй! Пробейся, прорвись к нему сквозь эту стену. А если и прорвешься, что узнаешь? Такие люди о себе не говорят! Но ты только что из Саратова и застал его в землянке, после очередного полета. Он улыбнулся, идет навстречу. Протягивает руку, усаживает, расспрашивает о земляках, о своем родном городе. А затем майор берет гармонь, русскую потрепанную трехрядку. И вот она—волжская пристань. Слышишь, волны бьют о берег.

Но орудия не смолкли. Дорогам, ведущим на запад, еще не видно конца... Сирена обрывает песню!

Вздрогнул рослый, кряжистый северный лес. Гул моторов. В небо взмывают бомбардировщики. Поднялись. Сдвинулись, крыло к крылу, и железным строем пошли на запад.

Их повел командир соединения Герой Советского Союза майор Сдобнов. Его жизнь—воздух!

Александр Матвеенко

КАЗАКИ

I

Всю неделю лютовали морозы и сухие колючие ветры, а когда непогодь стихла, прошла пороша. Над широкими донскими просторами стала зима.

Поутру полковник Куц вышел на крыльцо единственной, чудом уцелевшей на хуторе избы и, щурясь от снегового блеска, огляделся.

Там, где еще вчера нелепо торчали закопченные остатки хуторских дворов, сейчас рисовались причудливые фигуры в снеговых уборах. Меж них пролегала чистейшая улица с только что пробитой колеей и, обогнув, сбегала по крутояру в глубокую балку, из которой торчали заиндевевшие верхушки ветляков. Все вокруг было нетронуто-чисто, и только от крыльца до колеи вились частые стежки конских следов да возле плетня, где стояли оседланные кони, снег был сбит и смешан с землей.

Утреннюю тишину нарушали раскаты артиллерийской стрельбы, иногда—прерывистый рокот высоко пролетавших немецких самолетов. Но эти привычные шумы не мешали полковнику чувствовать молодую свежесть зимы и видеть все вокруг чудесным и нарядным. Он даже приосанился, шире развернул и без того широкую грудь и молодцевато сдвинул на затылок кубанку.

— Экая благодать, чорт возьми!—с удовольствием проговорил он.

— Богато наснежило!—отозвался от плетня вестовой, который при появлении полковника стал подтягивать коням подпруги.—Зараз, товарищ полковник, немчуру бы трошки прощупать. Поди зажурились по нас. Да и нам муторно, який день без дела таимся на хуторе.

Полковник весело покосился на вестового, взглядом одобряя его, и замурлыкал песню, постукивая в такт ей ладонью по перилам.

Позади него скрипнула дверь. Оборвав на полуслове песню, полковник, не оборачиваясь, сказал:

— Какова погодка-то, Семен! После непогоди в такую тихомань у фрицев обязательно внимание поослабнет.

— Ой-ли!—тоже щурясь на снег и покачивая головой, усомнился подошедший к полковнику высокий, строго подтянутый седоусый комиссар.—Выходит, оно и на нас распространяться может?

— У нас, товарищ Гетько, статья иная.—Полковник взял под локоть комиссара и сошел с ним с крыльца.—Так что ли, Руденко?—обратился он к вестовому, принимая повод и легко вскакивая в седло.

— Казаку зима, товарищ полковник, что обморышу нашатырь. Скипидарит дюже.

— То-то и оно!—улыбнулся полковник, ровняя коня с конем комиссара.—Я как вышел из хаты, усталый, ко сну клонило, а глотнул мороза и бодро стало. Будто и ночи не было.

Они ехали стремя к стремени. Коренастый крепыш полковник напевал вполголоса, и все лицо его и посадка выражали такое покойное довольство, что никак нельзя было подумать, что он находится в самом центре немецкого расположения. И конь его шел, словно играючи, задрав голову и пофыркивая, как бы говоря: «Посмотрите-ка на нас, какие мы ладные да пригнанные!»

Комиссар баском подтягивал полковнику и, покручивая ус, с интересом поглядывал на преобразившиеся за ночь руины пожарищ, мимо которых проезжали.

Спустившись по крутояру, они свернули за обрывистый выступ балки и, обогнув его, выехали к широкой вымоине, сплошь заросшей низкорослой вербой и роскидью старых ветляков.

На небольшой подсеке, выщербленной еще осенью артиллерийским обстрелом, виднелись казаки спешенного эскадрона.

Почти у самой обочины стояло несколько командиров, окружавших низенького и широкоплечего лейтенанта. Лейтенант держал высоко поднятой рукой за конец лозину и ловко рубил шашкой другой свободно свисавший ее конец на небольшие и равные кусочки.

— Лихо!—воскликнул комиссар, с восхищением глядя на рубившего.—Вершок к вершку отмахивает... Э-э, да ведь это лейтенант Куц класс показывает?

Лицо полковника не выразило удивления, хотя чуть заметная улыбка тронула губы. И он подумал, остановив коня перед подходившим к ним с рапортом майором:—То ли будет, товарищ Гетько, не такое еще Тарас покажет!

Выслушав рапорт, комиссар начал с бойцами беседу, а

полковник, отойдя с майором в сторону, отдал ему несколько приказаний по предстоящему походу.

— Что же касается разведки, — заключил он, — то ее поведет лейтенант Рябоконь.

Майор с удивлением взглянул на него.

— Разрешите доложить, товарищ полковник. Очередь лейтенанта Куца. И вообще... За что же обижать командира?

— Еще имеются возражения против лейтенанта Рябоконя?

— Я не возражаю, лейтенант Рябоконь отличный командир,—недоумевая, ответил майор.

— В таком случае решение не отменяется. Вопросы будут?

— Нет, товарищ полковник.

— Тогда давай, Никита Игнатьевич, присядем, да покурим.—Полковник примостился на розвальнях, стоявших невдалеке от них, достал портсигар и, раскрыв его, протянул майору.

— Андрей Пахомыч,—спросил тот, присаживаясь рядом.— Чегой-то не пойму я, за что ж ты Тараса обошел?

— Потом, потом,—отмахнулся полковник.—После потолкуем.—И сказал майору тем особенным отрывистым и строгим голосом, каким обычно отличал товарищескую беседу от служебного разговора: —Перед выступлением надо будет тебе еще раз проверить бойцов. Все как следует осмотреть, чтобы движеньям свободно было, чтобы ничего не болталось, не брякало. А в общем они у тебя не плохо выглядят.

Бойцы сидели тихие и спокойно-внимательные. В белых просторных балахонах, в капюшонах, спадавших на плечи широкими складками,—они выглядели на фоне иссиня-чистого снега и пушистых от инея верб, как сказочные витязи, порожденные самою зимой. Их безусые румяные лица дышали суровостью зрелого мужества и в этой суровости перед полковником вдруг возникли давно знакомые черты других людей. Он даже изумился, до чего в отдельных случаях было разительно сходство. Это открытие разбудило в нем уйму воспоминаний о прошедших годинах гражданской войны, напомнило ему и о себе самом, когда он был всего-навсего красноармейцем-разведчиком одного из кубанских кавалерийских полков.

Полковник смотрел на смурого и могутного бойца Толстова, а вспоминал по нему его отца. И ему ярко представилось, как тот с полковым кузнецом Чепуренко, сидя в камышах, сдерживал наседавшую конницу белых. Он уже видел этот кусочек прошлого: горел подожженный белоказаками камыш, бушевало пламя и стелился дым, а за Кубань отходили красные части. В злом молчании бойцы хмуро поглядывали назад, туда, где погибали их други—станичники. Полков-

ник даже вздрогнул, когда в воспоминаниях возник крик сотен бойцов, увидевших пробившегося сквозь горевший камыш Толстова—опаленного, в тлеющей шинели, тащившего пулемет и на плечах труп убитого Чепуренко... Смотрел полковник на чубатого Петруся Кологривова, а узнавал в нем своего эскадронного командира Кузьму Кологривова—лихого рубаку, никогда не снимавшего с плеч ярко-красного большого башлыка: «Чтобы дюжее беляков ярить!»—как говаривал он, оправдывая свое пристрастие к башлыку...—А как схож со Степаном Ляхом Парфен!—мысленно удивлялся полковник.—А разве не годки-то мои из пулеметного взвода Сорока и Шкуратенко? А не сам ли то взводный Бубенец сидит, подбоченясь, со старшиною Румянцевым?..

Многих, многих друзей узнавал по их детям полковник. И еще роднее, еще дороже становились ему бойцы. Молодел душою полковник, глядя на ладную пор сль казацкую, на их спокойные, решительные лица. И, как в молодости, загорались его глаза буйным задором и удалью, а рука уже искала эфес шашки и сжимала его, а губы как-будто шептали: — Сколько же тут доброго племя казацкого. На коней бы их, да в атаку, да рубануть по немцам так, чтоб и чертям тошно стало!

Тут увидел полковник Тараса и, почему-то смутившись, сначала отвел от него взгляд, но потом стал разглядывать с любопытством постороннего человека.

Тарас сидел в самой середине полукруга, на поваленном стволе, и так же, как и все не спускал с комиссара глаз и внимательно слушал. Балахон еще не был надет им, и он держал его на коленях, прикрывая недостававшие до земли ноги. И в этом положении, благодаря ширине плеч, казался высоким и дюжим. Кубанка едва держалась на его затылке, точно сдвинутая взъерошенными черными волосами. Скуластое лицо, всегда твердое и независимое, сейчас поражало своей жестокой серьезностью, каким-то хищным выражением упрямых губ и холодным блеском задумчивых глаз.

— Ершистый казак!—одобрительно подумал полковник. — Это он с комиссаровых слов разъярел так, а когда до боя дорвется?

И он любовался своим сыном, пожалуй, больше чем когда-либо, все более и более находя в нем достоинств. И уверенность полковника в Тарасе становилась крепче. Он перевел свой торжествующий взгляд на комиссара, точно ожидал, что и тот должен был заметить эти достоинства и понять необоснованность своих сомнений. Но, взглянув, увидел воодушевленное раскрасневшееся лицо, услышал чуть глуховатый от

волнения голос и невольно, подчиняясь ему, стал слушать, не думая больше ни о чем.

Комиссар в это время рассказывал:

Немцы гнали человек шестьсот колхозников к себе в тыл, —говорил он.—Как полагается, сначала обобрали до нитки. А мороз стоял лютый. Шли лесом. Опасаясь партизан, фашисты запретили разговаривать, а все же люди бубнили от холода, над толпой стоял гул. Тогда гитлеровская погань велела поснимать колхозникам кофты и рубахи и обмотать ими головы. Тише стало. Только ребята маленькие иногда заплачут или загукают. Тогда немцы вывели толпу в поле, поотобрали у матерей ребят, сложили их кучками и, полив керосином, подожгли.

— Так нам ли жалковать эту оголтелую сволочь? Смертью своей проклятой заплатят они нам! Уничтожать до последнего их пёсье племя!—выкрикнул комиссар, подаваясь вперед и сжимая кулаки.

— Вот я, старый казак, перед вами,—тем же гневным, но уже тихим голосом продолжал он.—Это я говорю вам! Не раз доводилось мне еще в первую германскую войну схватываться с немецким солдатом, рубился и с ихними офицерами. И тогда они подлыми людишками были, а все ж то была армия. А нынче, нет перед вами армии! Банда перед вами в стальных касках и с автоматами, дикая орда на танках и мотоциклах. Храбры они в стаде, скопом на одного нападать, над жинками насильничать, над безоружными ранеными измываться, лихи по клетям да сундукам шарить. Вот кто ваши враги, товарищи!

Комиссар умолк, тяжело переводя дыхание, и провел рукою по лбу, сосредотачивая свои мысли.

— Сегодня вы отправляетесь в опасный поход,—продолжал он обычным своим голосом.—В каждой кочке и выемке, в каждом вздохе и шорохе будет вас караулить смерть. В этот поход идете вы по своей доброй воле, идут только добровольцы. Кто вызвался итти сгоряча, увлеченный примером товарища, может остаться. Должен остаться!—резко выкрикнул он и выждал мгновение.

— Есть еще время! Подумайте! Подумайте еще раз, и в ком бродит хоть тень страха, хоть малая думка боязни лежит на душе,—не ходи! Тут позора не будет. Тяжкий позор ляжет на того, кто в походе своим малодушием предаст товарищей. Командование предлагает вам еще раз проверить себя. Кто решит остаться, не стыдись, поступи честно, отходи вон хоть туда, к ветлякам.

Комиссар головою указал в сторону и, отогнув рукав полушубка, взглянул на часы.

— Для решения предоставляется пять минут,—сказал он и медленно зашагал к дороге.

Он не подошел к полковнику и полковник оценил это. Он и сам не смог бы разговаривать с кем-либо в эти минуты. Майор ушел выполнять полученные приказания, а полковник сидел один на розвальнях, чертил концом плети по снегу и не поднимал головы, чтобы не видеть происходящего среди бойцов. В промежутках совершенной тишины ему слышен был тихий говор, иногда смех да шорох осыпавшегося с верб инея. Полковник сидел, слушал эти звуки и глядел под ноги на выведенные плетью узоры.

Потом ему послышались шаги и не одного, а нескольких человек. Захотелось посмотреть: кто из казаков отошел? Но нето стыд, нето неловкость удержали его. Он сидел, покусывая от нетерпения губу и хмурился, и тут услышал слова комиссара.

— Я так и ожидал, товарищи-казаки!

Полковник поднял голову и увидел бойцов, сидевших на прежних местах и перед ними стоявшего комиссара. У ветляков, кроме вестового и трех коней, никого не было.—Чорт, Руденко,—укоризненно покачал головою полковник.—Хоть бы коней в другое место отвел.—Но улыбки, широкой и довольной, все же не сдержал.

— Кто хочет высказаться?—спросил бойцов комиссар.

— Прошу слова,—раздался чуть картавивший голос. Полковник узнал по нему сына и поморщился, ожидая услышать просьбу о назначении в разведку. Должно быть так же подумал и комиссар, потому что он недовольно взглянул на Тараса и сухо сказал:

— Слово имеет лейтенант Куц!

Тарас казалось, ничего этого не заметил и все с тем же сурово-упрямым выражением лица соскочил со ствола и, сделавшись сразу низеньким и широким, шагнул вперед. И тогда, точно была подана команда, встали все бойцы и командиры. Невольно поднялся и полковник, догадываясь, что Тарас будет говорить от имени всего эскадрона.

— Мне поручено,—сказал Тарас, картавя и старательно выговаривая слова.—Мне доверено передать командованию боевую клятву. От имени товарищей-казаков говорю я. Выпала нам доля добыть славу советскому оружию,—так мы добудем ее. Как мстители, идем мы за поруганную родину. — Тарас умолк и огляделся, точно что-то припоминал.—Вот что, товарищи,—сказал он, и вдруг голос и выражение лица его изменились: заговорил не лейтенант Куц, а Тарас — немного грубоватый и насмешливый, но чуткий и прямодушный товарищ, наконец припомнивший то самое нужное, что ему хоте-

лось сказать.—Вот, когда нету страха перед смертью и когда понимаешь, что доля твоей родины с тобой накрепко связана, разве не захочешь, уж если отдавать свою жизнь, то так, чтобы самой смерти страшно сделалось, чтобы у фашистского пáдла при одном имени нашем кровь носом пошла. Вот разведка сегодня доносила: Дон не везде стал, и лед тонок. Шум, дескать, можно наделать при переправе, погубить операцию. А казаки вот просят передать командованию: не будет шума, не сорвут они операцию. С именем Сталина в сердце мы будем умирать молча, без стона, без крика. Лед на Дону тонок, пусть будет тонок. Кого не выдержит, тот в молчании примет смерть, не опозорит казацкую честь, не подведет товарищей. Мы клянемся в том честью своею!

— Клянемся!—в голос повторили за Тарасом бойцы.

Тихо стояли казаки. Голубело небо над ними, сверкало румяное солнце, рассыпая по снегу миллионы искр, прозрачно розовели по деревьям бахромки инея, сливаясь с легкой синевой теней, а вокруг—на подсеке и в дальних просторах степи—стояла нерушимая тишина.

— Умирать молча!—прошептал видавший виды полковник, и почувствовал как у него от одного только представления об этой безмолвной смерти прошли по телу мурашки.

Полковник не слышал, что сказал комиссар. Он думал о сыне, о бойцах, и воображение рисовало ему их путь по заснеженным долам и отрогам, по застывшему в ледяной стуже Дону. Он видел политою казацкою кровью снеговую целину, раскинувшиеся тела сраженных казаков, но стонов не слышал: глухая немота лежала на их пути.

Бойцы выстраивались по подразделениям. Полковник наблюдал за ними, пытаясь заметить в них что-либо особенное, необычное. Но ничего такого не замечал: они были теми же, какими были вчера и много дней назад, какими он знал их всегда.

К полковнику подошел Тарас.

— Попрощаемся, отец,—сказал он и, как показалось полковнику, с насмешливым блеском в глазах.—Думаешь, не досадно мне, что в разведку не послали? Ну, да дело для меня и в эскадроне найдется.—Тарас смотрел исподлобья и в задумчивости проговорил:—А матери все же скажи: слово свое я сдержал и держу, не последний в полку командир. Прощай!

— Прощай, скажу. Обязательно передам,—обрывая слова, точно злясь, проговорил полковник.—А рецептов не дам, не даю. Своей головой живи. Если ж случится, убьют тебя, сам знаешь, не радость мне будет.—Полковник сказал все это раздраженной скороговоркой, точно торопился закончить неприятную для него размолвку. Потом притянул за рукав Та-

раса и, в упор глядя на него и понизив голос, резко проговорил:—Когда же узнаю, что не так... Не по-казачьи повел себя, да живой остался... Живым вернулся,—строго повторил он и в глазах его блеснули злые огоньки.—Порешу!.. А в бою повидаемся!—уже на ходу выкрикнул он, направляясь навстречу вестовому, подводившему коней.

Быстрым шагом прошла через подсеку разведка. Минуя дорогу, она спустилась в балку и вскоре слилась со снегом среди мелколесья. Полковник проводил ее взглядом и, проехав вдоль фронта построенного в одну шеренгу эскадрона, подал майору знак к выступлению. Молча и упорно внимательно смотрел полковник на проходивших мимо бойцов и, пропустив их, дернул плечами.

— С такими хлопцами,—сказал он комиссару,—мы, товарищ Гетько, не смеем и думать, что сорвем или затянем операцию.—Он тронул коня к дороге на хутор и, обернувшись еще раз в сторону, куда ушли бойцы, добавил:—Одно жалею: жаль, что не могу с ними итти!

А бойцы уже огибали вымоину и поднимались по косогору, исчезая один за одним за его кромкой. Вот уже исчез последний из них, и все вокруг сразу как бы раздалось и выросло, стало шире и больше, словно заслонило собою ушедших.

II

Падал ленивый редкий снег. Сквозь снежинки кое-где виднелась густевшая синева неба. В сумерки, когда уже вызвездило, эскадрон, пробравшись по намеченным разведкою тропам, достиг берегов Дона. Было приказано остановиться и, замаскировавшись, залечь в снегу.

В полуверсте от эскадрона, так, что легко было различить очертания, стоял на возвышенности немецкий ДЗОТ, обведенный крутым ледяным валом и рядами колючей проволоки. Другой ДЗОТ находился ниже и дальше. Возле него копошились люди, слышались непрерывный стук и голоса. И совсем далеко, откуда доносился грохот нараставшей канонады, все яснее и яснее обозначалось зарево пожара. Изредка из ближайшего ДЗОТа раздавались сухие и короткие выстрелы автоматов; иногда над ним поднималась зеленого цвета ракета, и тогда, с невидимой точки в степи тотчас взлетала такая же другая.

Лейтенант Рябоконь отыскал майора, и они вместе поползли к Дону. Спустившись к реке, командиры укрылись под небольшим ярком, выступавшим почти у самого уреза воды, и Рябоконь, широко обводя рукою, обстоятельно рассказал о

наиболее удобных для переправы местах. От яра, где они стояли, вела к Дону полоска примятого снега, кое-где по ней мутнели пятна. Майор слушал лейтенанта и не спускал с них глаз.

— А то чей след?—спросил он, когда Рябоконь закончил объяснение.

— Мой. Когда с того берега возвращался, полз тут. Вода проступает. Только здесь лед крепкий. А вот дальше... плоховат, совсем плоховат.

— Видимо, тут и придется переправляться,—внимательно осматривая округу в бинокль, проговорил майор.—Берег и река простреливаются, а все же лучшего не выберешь. Самое трудное будет здесь... Оставайтесь на месте, направляйте бойцов.

Майор еще раз окинул взглядом реку и, что-то пробурчав, скрылся за яром.

Через некоторое время легкое похрустывание снега подсказало Рябоконю, что бойцы приближались. Они ползли с большими промежутками друг от друга. Он указывал им направление и чутко прислушивался, определяя по еле уловимым звукам, доносившимся с реки, куда лучше было посылать людей.

— Товарищ милиционер,—вдруг услышал он подле себя озорной шопот.—Где тут с дитем перейти?

Нелепость неожиданного вопроса озадачила и вместе с тем нарушила то нервное напряжение, в каком находился Рябоконь. Он вгляделся в подползавшего —узнал Тараса, несшего за спиной ручной пулемет и, радуясь его шутке, поддержал ее.

— Давайте помолчим, гражданка,—прошептал он.—Забирай, Тарасик, правее, меть в самую середку между полыньями.

Вместе с удаляющимся шорохом до него донеслось: «Благодарю, почтенный!», и Тарас стал невидим в темноте. А Рябоконю сделалось почему-то безотчетно тоскливо, как-будто вместе с Тарасом скрылось от него что-то близкое, родное и хорошее. Ему стало знобко, и тут только он заметил, что его капюшон возле лица покрыт густой бахромкой инея, что ночь уже стояла над рекою, и в бездонной черноте неба ярко мигали и вздрагивали звезды.—К морозу! — подумал он, переминая ногами, и осмотрелся: ему показалось, что он слишком долго занимался размышлениями и проглядел очередного бойца.

Дон—холодный и суровый—лежал перед казаками во всю ширину. То тут, то там по нему чернели огромные полыньи. В их быстринах мелкими излучинами трепетало сияние звезд и глухо ворковали струи, разбиваясь о ледяные окрайки. Белый от снега у берегов лед на стрежне темнел гладкой, как

стекло, поверхностью, местами доходившей до плавней противоположного берега, заросшего на много верст высокими и густыми камышами.

Выбравшись на реку, казаки вначале ползли быстро, внимательно вглядываясь в ночной сумрак и прислушиваясь к легкому звону бьющихся в полыньях льдинок, к шуршанию воды, но по мере того, как они приближались к стрежню, где лед был тоньше и прогибался, движения их замедлялись, делались осторожней и нерешительней, точно неясное чувство тревоги связывало бойцов и заставляло то оглядываться назад, то искать глазами камышевые заросли, которые отсюда, с середины Дона, казались и дальше и трудней достижимыми.

Лед трещал. Иногда раздавался шумный всплеск, и тогда на мгновение вздымались края обломанных льдин, а казак, что только что полз, не вскрикнув, увлекаемый течением, скрывался под льдом. На его месте уже чернела проломина, в ней суетливо кружились и толкались льдинки, отскакивали и сближались.

Провалился Круглов—русокудрый весельчак и лихой танцор. Только и успел он—это отбросить к ближайшему товарищу свой автомат. Значит, сильна была его ненависть к врагу, если последнее усилие своей воли употребил он на спасение оружия, словно хотел вместе с ним оставить для мести и свою ненависть. Скрылся под льдом и Сорока. Исчез Шкуратенко, Румянцев. Провалился Светлов—задиристый и своевольный паренек. Но он вынырнул и успел уцепиться за окраек льда. Беспомощно вертя по сторонам головою, он долго держался так, ища и выжидая помощи. Лейтенант Рябоконь не выдержал и поспешил к нему. Но как осторожно ни подползал он, едва ухватил Светлова за ворот и потянул к себе, лед треснул и они оба исчезли в проломине. Не одну минуту прождали, видевшие это бойцы. Так и казалось им, что вот-вот появятся над водою головы, уцепятся руки за окраики крепкого льда. Но никто не показывался, только тихо шуршали льдинки да плескалась вода. Хмурые и побледневшие ползли дальше казаки, огибая водяную могилу. Как ни старались они не думать о постигшей товарищей гибели, но злоба распалялась в них, напоминала и заставляла быстрее подвигаться к берегу, туда, где находился враг.

Тарас легко скользил вперед и чутким слухом улавливал и хруст ломавшегося льда и водяные всплески; догадывался, что уже не один казак погиб в ледяных омутах Дона. Но когда внезапный треск раздался впереди него, а позади над берегом, точно вспугнутые им, взвились ракеты, Тарас невольно вздрогнул и остановился.

При свете ракет он отчетливо увидел черневшую проломи-

ну и поодаль от нее лежавший на льду автомат. Тарас не сразу сообразил, что произошло и с недоумением насторожен. но огляделся. Влево, совсем недалеко от проломины, темнела большая полынья, подходившая почти вплотную к камышам и замеченная им еще с берега, когда Рябоконь указывал направление.

— Большую половину уже проползли,—подумал Тарас. — Дальше от полыньи держать надо было.

И тут только он осознал, что боец, ползший впереди, провалился. Тарас не отрывал взгляда от сиротливо лежавшего автомата и, пораженный страшной простотой молчаливой смерти, чувствовал, как в его сознании и в сердце все наполняется какой-то торжественной и холодной строгостью к этому бойцу, имени которого он не знал, но который принял свою гибель с такой беззаветной стойкостью.

И та строгость, что испытывал Тарас, была не жалость и не скорбь о погибшем, он их считал бы оскорбительными для памяти бойца, это было состояние духовной твердости, с какой отважный человек отдает последнюю почесть мужеству погибшего воина.

Когда потухли ракеты, Тарас подобрал автомат, повесил его на шею и, далеко обогнув проломину, пополз к берегу.

Вспышка очередной ракеты застала его уже в плавнях. Он стоял, скрытый камышом, глядел на вражеские ДЗОТ'ы, и его лицо, в рамке опушенного инеем капюшона, было упрямо, хищно и жестоко.

— Переправа нам стоила двадцать две жизни! Двадцать две! Дорого стоила, очень дорого! Политрук Петелица, лейтенант Рябоконь, боец Круглов... Э, да что тут, люди-то какие!.. Теперь перестраиваться надо. Товарищей надо заменить. А людей в обрез. Верно я говорю?

Тарас ничего не ответил майору и, думая о своем, хмуро молчал. Майор лежал рядом с ним. Пригнувшись к огороженному снегом углублению, разглядывал при свете карманного фонарика небольшой листок бумаги, с набросанным на нем планом местности. В нескольких саженях от них длинной линией, далеко уходившей в сумрак, безмолвно лежали казаки. Узкий серп месяца призрачным светом озарял их, дробился мелкими тенями в окружавшем камыше и тихо мерцал в примороженном жестком снеге.

— А может быть придет еще?—чуть слышно спросил Тарас.

— Кто?

— Да Рябоконь. Может быть ошиблись, не он это был?

— Точно он!.. А всего двадцать два человека!

Майор снова склонился над планом. А Тарас глядел пустыми, как-будто незрячими, глазами на казачьи цепи и с грустью думал о погибшем Рябоконе, с которым так еще, казалось, недавно окончил станичную десятилетку и столько загадал наперед, что для другого хватило бы на две хороших жизни. Майор приподнялся на локтях и, открыв полевую сумку, спрятал в нее листок с планом.

— Способный был командир,—проговорил он, но так тихо, что Тарас, пожалуй, и не слышал.—Наспех ведь сделал план, а как? Другой и при времени не сделает так. — Майор помолчал, искоса взглянул на Тараса и, вероятно, понял, что гибель Рябоконя произвела на него гнетущее впечатление.— Не журись, Тарас,—тихо сказал он.—Воюем ведь, не в альчики играем.—И вдруг спросил:—У тебя ребята есть?

Тарас повернул к нему голову и морщил лицо, стараясь понять, о чем он спрашивает. Майор повторил вопрос.

— Я говорю, ребята у тебя есть?

— А как же, Степка,—оживился Тарас.—Мировой пацан, только рыжий. Отец говорит в деда. И Степаном отец его назвал ради дружка своего Ляха, Степана Пантелеича.—Тарас вспомнил что-то и улыбнулся, оскаля забелевшие в темноте зубы.—Степан Пантелеич в прошлом году, когда Степке год исполнился, петуха ему цыпленка подарил. Он ведь тогда директором птицесовхоза был. Ты, говорит, Степан Тарасович, пока что с петухом дружи, а подрастешь, жеребенка дам. Степка теперь без петуха и есть не садится.

— Ишь как,—сказал майор.—А я вот, хотел тебе о другом пацане рассказать. Может, сгодится. Это по осени было, когда Запорожье оставляли. Твой отец посылал тогда мой эскадрон также вот в тыл к немцам. Лежали мы в тот день метрах в тридцати от грейдера, а в канаве, как раз против нас старик тяжело раненый постанывал. По грейдеру танки немецкие шли. Глядим мальчонка крошечный из канавы вылезает, года два-три ему было, и встает у обочины. Танки идут, мальчишечка стоит, ревет и ручонки обе поднял, будто хочет сказать, что сдается он с дедом. И такой он был беспомощный рядом со стальными махинами, прямо душа разрывалась... И вот один танк вдруг как свернет и раздавил мальчонку... Был мальчонка, и не стало мальчонки!.. Вот дело-то какое... А я с тех пор, как в бой иду, не сына своего, а мальчонку того вспоминаю, и пустой становлюсь, для всего пустой, только ненавижу. Всем разумом своим ненавижу фашистское падло. И всякая мыслишка в моем разуме тогда работает на уничтожение их. Не жалкуй Рябоконя, Тарас! О том матери наши да жены постараются. Добрый казак Рябоконь был, слов нет. Ценил товарищество дороже жизни своей. Из

355698

рода в род теперь честь его превозносить будут. А нам с тобой ненавидеть врага надо и уничтожать его. Ты сейчас в тыл к немцам пойдешь. Вот и помни это...—Майор умолк, а когда заговорил, голос его был сух и бесстрастен.—Толстова с собой тебе даю и Чухонина. Оба с Рябоконем в разведке были. Все тут уже обшарили, где, что, и как—знают. Втроем пойдете. Людей в обрез. Трудновато придется, факт. И пулемета не дам. Сам понимаешь, нельзя, мало их. «Языка» мне в первую очередь пришлешь. Ты себе план-то зарисовал?

— В точности.

— Стало быть, знаешь, где ихние посты находятся. Да, хорошо бы те два танка, что в плавнях стоят, обезвредить. Но главное—это в тылу, в тылу у них кутерьму поднять. Дело пустяковое, если с умом делать. Начнешь действовать, либо когда подкрепление им пойдет, либо когда они с хутора побегут. Верно я говорю?

— Верно-то верно, а вот с «языками» морока будет. Толстова даете мне да Чухонина, у того и другого насчет «языков» плоховато получается.

— Зато силищи да ярости в них на целый эскадрон отмерено, а двоим дано. Сумей использовать.

Тарас хорошо знал соразмерно огромного, необычайной силы Толстова и вспомнил, как тот, получив задание достать «языка», доставал обычно сразу двух. «Я ж сгадал, не могут обои не сдюжать мою доставку?»—смущенно пояснял он. Но в могучих руках Толстова весьма редкие выдерживали доставку.

У Чухонина—ухватливого и немыслимо отчаянного в рукопашных схватках бойца—доставание «языков» вообще не выходило. Он только аккуратно приносил документы убитых им немцев, иногда оружие, если оно чем-либо вызывало его интерес. Зато у Чухонина был самый крупный в полку «фрицсчет». Свою «бухгалтерию» Чухонин вел на левой руке рядами маленьких крестиков. Когда набиралась сотня таких крестиков, он их смывал и у локтя ставил итоговую цифру и дату. Вот эти-то особенности назначенных казаков и смущали Тараса.

— Когда же мне отправляться?—спросил он.

— Через двенадцать минут.

— Так я пойду?

— Ровно в ноль-ноль пятнадцать минут,—пожимая ему руку, сказал майор.—Понапрасну не рискуй. На нас ведь большая надежа возложена! Ну, ступай, бери бойцов.

Тарас отполз к цепям и, отыскав Толстова и Чухонина, направился с ними в глубину плавней, в обход хутора.

Камыши, скованные мертвой тишиной, расступались перед

ними, чуть вздрагивая припорошенными снегом метелками. Месяц уже опустился к горизонту, и небо, ставшее глубоко черным, лучисто сияло звездами. От беспрестанного мелькания перед лицом камышевых стеблей у Тараса начинало рябить в глазах. Ему казалось, что он нисколько не продвигается вперед, а, стоя на месте, делает одни и те же осторожные, плавные движения руками и ногами, как в каком-то нескончаемом гимнастическом упражнении. Сколько ни шел он, все так же вокруг высилась плотная стена камыша. Он раздвигал ее, делал шаг, она расступалась и тотчас смыкалась позади. Тарас взглянул на часы и прикинул: выходило, что они прошли около двух километров и должны были находиться уже под самым хутором. Он остановился и, подождав идущего сзади него Толстова, указал ему на часы.

— Смотри сюда! До двух часов осталось час с четвертью. К двум часам тридцать минут тебе надо доставить «языка» майору. Живым доставить. Другого решения задачи нет. Понятно?

— Есть, товарищ лейтенант, к двум тридцать доставить товарищу майору живого языка.

— Расположение немецких постов известно?

— Известно, товарищ лейтенант. Можно итти?

— Ступай.

Толстов сделал шаг назад и сразу исчез за камышами. И как ни вслушивался Тарас, он не мог различить ни единого шороха, ни единого треска.

— Шут его знает!—улыбнулся он.—Экая машина, а муха больше шуму наделает, чем он.

———

Толстов шел тихой, скользящей походкой лыжника и вскоре добрался до окраины хутора, где еще в первый раз, когда находился в разведке Рябоконя, обнаружил небольшой окоп сторожевого охранения немцев. Окоп стоял на бугорке, на задах хуторских огородов. Позади него отчетливо рисовались на фоне неба покрытые снегом крыши хат и пристроев, меж ними деревья, и кое-где еще виднелись неразобранные полоски плетней. От крайних пристроев к окопу вела широкая и тщательно расчищенная тропинка. А впереди него, сажень на двадцать вокруг, камыш был выкошен, лежала ровная снеговая поляна.

Убедившись, что в прилегавших к прокосине камышах никого нет, Толстов залег и стал прислушиваться к тому, что делалось на хуторе. Слышно было, как у хат кто-то мерно похаживал, хрустя по снегу, похлопывал руками, одетыми в кожаные рукавицы. Изредка стучали щеколды дверей и ко-

ваные сапоги грохотали по скрипучим ступенькам. Одна дверь, самая дальняя, открывалась чаще других, и всякий раз из нее вырывался многоголосый шум, крики и музыка патефона.

— Гуляют, собаки,—подумал Толстов, разглядывая окоп и слыша доносившийся из него приглушенный разговор.— Двое или больше их там? Хорошо бы живьем-то взять,—вздыхал он и медленно пополз через прокосину, часто останавливаясь, и так напряженно прислушивался, что у него начинало звенеть в ушах.

Он уже поднялся на бугор и подобрался к самой насыпи, как вдруг услышал в окопе движение, а следом увидел поднимавшегося из него солдата.

Что-то напевая, солдат неспеша обошел насыпь и стал оправляться. Он находился настолько близко от Толстова, что тот мог бы, только чуть подобравшись, ухватить его за ногу.

Солдат делал свое дело и напевал, а когда повернулся, чтобы направиться в окоп, перед ним стоял высоченный Толстов. Немец страшно выкатил глаза и открыл было рот, но огромная рука Толстова ухватила его за шею, сжала и отрывисто тряхнула. Что-то хрустнуло, голова неестественно откинулась назад и Толстов почувствовал, как немец обвис в его руке без всяких признаков жизни.

— Экая незадача! — недовольно прошептал он, опуская тело солдата на снег.—Не ударь, не тряхни, и другого решения задачи нет. Да что ж я, пропадать что ли должен?

Он подоткнул полы халата за пояс и решительно зашагал к входу в окоп. Спустившись по аккуратно выщербленным ступенькам, он вошел под настил и прямо перед собою различил видневшийся в темноте синеватый вырез бойницы, а на фоне ее силуэт головы в каске. Желая проверить, есть ли еще кто в окопе, Толстов шагнул влево и на кого-то наступил. Лежавший заговорил что-то сдержанно злым и грубым голосом, очевидно, ругаясь. Ничего не видя и только по голосу определяя, где находится голова ругавшегося, Толстов ткнул рукою в этом направлении, но угодил в стенку. Скорее почувствовав, чем различив, что лежавший приподнялся, Толстов навалился на него и ухватил за горло. Все это он проделал так быстро, что дежурный, как вкопанный, стоявший у бойницы, не придал никакого значения его возне, очевидно, принимая ее за возню выходившего и теперь укладывавшегося спать солдата.

Не выпуская обмершего немца, Толстов приподнялся и, наметясь, быстрым рывком схватил за загривок дежурного и стукнул его лбом о перекрытие бойницы. Солдат зашатался, но устоял. Должно быть сообразив, что с ним происходит, он ухватился за рукоять пулемета, пытаясь дотянуться до га-

шетки. В то же мгновение Толстов едва не вскрикнул от острой боли в руке, державшей другого немца.

— А, бисовы подлюки!—обозлился он, и так стукнул немцев головами друг о друга, что сам испугался:—Хиба кончились?

Он пригнулся к лицу одного из них.

— Дышит!—с облегчением прошептал он, осторожно укладывая рядышком обоих солдат.

Только после этого он ощупал руку. Рана, очевидно сделанная кинжалом, находилась повыше локтя, она ныла и сочилась кровью. Толстов попробовал несколько раз согнуть и разогнуть руку, и хотя боль была сильная, он все же остался доволен пробой. Сняв с немцев пояса и подвязав ими ручной пулемет, он ухватил солдат за шиворот и поволок их наружу.

Между тем Тарас и Чухонин уже лежали в камышах невдалеке от замаскированных немецких танков и стоявшей подле них палатки, в которой находились танкисты. Голоса немцев были хорошо слышны и Тарас, немного понимавший язык, разобрал, что они, занимаясь ремонтом какого-то механизма, вели речь о только что полученном приказе Гитлера, сообщавшем об успешном наступлении на Москву и о том, что для участия в параде, который Гитлер назначил в Москве, будут вызваны лучшие фашистские части.

— То-есть, как это в Москве?—думал Тарас. — Неужели так плохо на фронте? Неужели и Москву оставим? Брехня, брехня! Башки посвернем, а Москву, хрен, вы получите!

Мысль о поражении под Москвой никак не могла уложиться в его голове. Он знал о тяжелом положении, создавшемся на западном фронте, но чтобы оставить Москву, этому он не мог поверить. Ему очень хотелось крикнуть этим самодовольно толкующим о приказе, немцам, что они сейчас, как никогда, далеки не только от Москвы, но и от жизни, что они обречены на уничтожение и доживают последние минуты.

И хотя Тарас ничего такого не крикнул, однако эти мысли вернули ему спокойствие.

— Не Гитлер, а я, лейтенант Красной Армии Тарас Куц устрою вам парад,—прошептал он.—И не в Москве, а здесь вот, в плавнях.

Он снял варежку и дыханием стал согревать окоченевшую руку. Тарас не глядел на часы, но по усиливавшейся за Доном канонаде определял, что решительная минута, которой он ждал, приближалась.—Дюжее, дюжее!—обращался он к звукам артиллерийской пальбы.—И за Москву, и за нас, и за всё-всё!.. А все-таки скорее бы сигнал подавали... — И почему-то

подумал:—Интересно, через два дня в газетах прочтут и на Кубани прочтут, а может мать в станице услышит по радио, как диктор скажет: «Одно из подразделений кавалерийской части, где командиром полковник Куц, пробралось в глубокий тыл противника и атаковало населенный пункт...» — и в то мгновение, как он мысленно представил свою мать, слушающую радио, Тарас услышал, выделившийся из общего гула канонады, далекий раскатистый орудийный залп.

В воздухе сначала глухо, а потом постепенно нарастая, быстро приближался басовитый, звенящий медью шум. Он вихрем пронесся над головой и с сухим треском рассыпался в степи. И тотчас, далеко, вползая в темное небо, поднялась ярко-красная точка. Она задержалась на миг, потом стала медленно опускаться.

— Наконец-то!—подумал Тарас и приподнялся на руках и ногах, приготовив себя к броску, с наслаждением чувствуя, как упруго натянуты его мышцы, как все в нем крепко и сильно.

— Готовься!—шопотом приказал он Чухонину и не отрываясь, глядел на небосклон, трепетавший зеленоватым сиянием от немецких ракет, ожидая с секунды на секунду сигнала к атаке.

Три красных ракеты взвились за дальним концом хутора. И вместе с ними с громовым треском начали будто обрываться и сыпаться с неба на левобережные ДЗОТы большие и маленькие звезды.

Тарас и Чухонин стремительно перебежали к танкам и укрывшись за ними, открыли огонь из автоматов по выскочившим из палатки, всполошенным и ничего не понимающим немцам. Четверо из них упали сразу, но двое других успели юркнуть в палатку и, выскочив в противоположном конце ее, побежали к хутору.

Чухонин, взвизгнул, точно его кто-то стегнул, и ринулся за ними.

— Назад!—гаркнул Тарас, бешено стреляя по бегущим.

Один солдат свалился. Второй продолжал бежать зигзагами. Чухонин метнул в него гранату, и Тарас видел, как в мгновенной, буро-желтой вспышке солдат точно сам расшвырял в разные стороны части своего тела. Но упал и Чухонин.

— Эээх!—со злобой промычал Тарас, до боли в руках сжимая автомат.

Он на всякий случай окликнул Чухонина, но в это время грохнули стоявшие за хутором немецкие батареи. От Дона застучала деловитая россыпь пулеметной стрельбы и сухо щелкнули противотанковые пушки. С шипением и стоном захлопали по хутору мины. Тарас медленно шел к палатке, не отрывая глаз от раскинувшегося на снегу Чухонина.—Зря, —

проговорил он.—Совсем зря!—И перешагнув через лежавших у входа в палатку убитых немцев, заглянул во внутрь ее.

В палатке, пустой и обособленно тихой, горела висевшая на длинном шнуре лампочка, прикрытая рефлектором. Под нею на брезенте лежали части какого-то разобранного механизма. А рядом возле разостланной соломы, покрытой тряпьем, стояли две походных спиртовки с опрокинутыми кофейниками, валялись два очевидно оброненных пистолета и раскрытая, но непочатая банка мерзлых консервов.

— К параду готовились, ремонтировались! — Пробурчал Тарас, заворачивая в брезент разобранные части.

Забрав сверток, он вышел из палатки.

Бой за хутор разгорался все с большей силой. Слышался непрерываемый грохот и на том берегу Дона. В царившем хаосе звуков уже ничто больше не отделялось друг от друга, а сливалось в один сплошной гул.

Тарас залез в ближний к нему танк и без труда нашел выключатель. Над головой вспыхнул плафончик. При его свете (Тарас хорошо знал устройство немецкого танка), он опробовал механизм и убедился, что машина была вполне исправна, заправлена горючим, а в башне имелся полный запас снарядов и пулеметных патронов. Открыв смотровые щели, Тарас включил мотор и машина, покачиваясь на неровностях почвы, медленно поползла вперед.

Тарас хотел забрать с собою тело Чухонина и поэтому, выехав из плавней, свернул влево. Каково же было его изумление, когда он увидел, как сам Чухонин, растопырив руки и пошатываясь, медленно брел ему навстречу.

— Тем лучше, очень хорошо! — бормотал обрадованный Тарас, останавливая танк.

Он подбежал к Чухонину и протянул ему руки. Но тот отстранил их.

— Я ничего, товарищ лейтенант, я сам... Вот, трофейные документики, получите — и, еле стоя на ногах, он протянул Тарасу пухлый бумажник, перетянутый резинкой.—А я не ранен, товарищ лейтенант,—с трудом произнося слова, говорил он. — Обеспамятовал только... Должно ушибло чем... А так ничего.

— Чего или ничего,—грубо оборвал его Тарас, — после разберем. И наряд после получишь. А сейчас мне некогда. Сам держи твои документики.—Тарас сгреб Чухонина в охапку и понес к танку.—В башне будешь сидеть,—говорил он, втискивая Чухонина в люк.—Отойдешь—стрелять будешь ,не отойдешь—и без тебя управлюсь.

Закрыв наглухо дверцу и сев на место, Тарас дал машине полный ход.

III

Бой за хутор начался у плавней одновременно вдоль всей линии немецких окопов. Майор, получив донесения от разведчиков и опросив пленных, доставленных Толстовым, разделил эскадрон на две части. Командование одной из них он поручил лейтенанту Бубенцу—осторожному и умному командиру,—а сам с другой частью эскадрона обошел плавнями хутор и задолго до сигнала к атаке уже находился на правом фланге немецкой обороны. А Бубенец со своим отрядом, подобравшись камышами почти вплотную к левому флангу, проник за линию окопов и даже во дворы отдельных хат.

Когда раздался первый далекий орудийный залп и взвилась красная ракета, майор взглянул на часы и, дождавшись назначенной минуты, подал знак казакам, державшим наготове ракетницы. С треском и шипеньем в небо взвились сразу три красных огня. Ярко-красный свет полыхающим заревом залил окрестность и в его сиянии как-то особенно торжественно раздалась громкая и отчетливая команда майора:

— Вперед, казаки! За Родину! За Сталина!

— За Сталина! —вырываясь из камышей, пронесся над плавнями над тихим хутором многоголосый крик и следом перекатами, не смолкая, а становясь все громче и грозней, понеслось яростно-исступленное «ура».

Цепи казаков устремились вперед, забрасывая окопы гранатами и стреляя из автоматов. Налет был настолько неожиданен и стремителен, что немцы в первые минуты не успели даже оказать какого-либо сопротивления. В отдельных местах затокали было пулеметы, но и они почти тотчас смолкли. Казаки были уже в окопах и, как часто это бывает, когда атака переходит в рукопашную схватку, на какое-то время стихли и крики наступавших, и разрывы гранат, и треск пулеметов, а были слышны только глухие удары, хруст, оханье и стоны. И вдруг среди этих звуков раздался тонкий испуганный голос какого-то немца: «Капут!»

Этим воплем словно была подана команда. Все солдаты—сколько их было в окопах и блиндажах,—обезумев от ужаса, воя и давя друг друга, устремились к хутору. Казаки повернули захваченные ими в окопах пулеметы и открыли неистовый огонь по бегущим. Немцы падали, ползли, топтали своих же, сбивали тех, кто пытался подняться. На упавших валились новые убитые и раненые. Гора тел росла, вопила, перебивая трескотню пулеметов, и шевелилась, как саранча, которую сгребли в кучу.

Еще большая паника царила на улице хутора. Полураздетые солдаты и офицеры выскакивали из хат, метались от

крыльца к крыльцу, от изгороди к изгороди, но всюду натыкались на таких же ничего не соображавших, охваченных животным страхом людей, и бежали назад.

Долговязый обер-лейтенант, тонкий и затянутый ремнями снаряжения, пытался остановить бегущих. Он ухватил одного из солдат за грудь и, что-то крича, остервенело лупил его по голове рукояткой револьвера. Солдат мотал головой, потом, выскользнув из офицерских рук, быстро пополз в сторону. Офицер выстрелил в другого пробегавшего мимо солдата, потом в еще одного. Несколько беглецов остановились, дико смотря на офицера, но в это время новая толпа налетела на них, смешала и увлекла с собой.

Но едва вся эта масса достигла одного из поперечных переулков, как на нее обрушился стонущий шквал минометного огня. Толпа взвыла и шарахнулась в противоположный конец переулка, выходивший за хутор.

Загорались хаты. Клубы дыма, прорываемые длинными языками пламени клубились над кровлями, огонь струйками стекал по стенам и вдруг разом накрывал огненной шапкой строения. Зарево разрасталось. В его свете казаки в своих белых развевающихся халатах, как призраки, появлялись из каждой щели, изгороди, хаты, надвигались неудержимо и молчаливо, и от этого еще более страшно.

Казачьи цепи выходили к небольшой площади в центре хутора и уже начали делать перебежку, как из отдельно стоявшего против них полутораэтажного дома, с треском и звоном вылетела рама. В оконном прорезе, заполняя его собою, стояла поддерживаемая сзади женщина. Полыхавшее зарево ярко освещало ее растерзанную фигуру. Простоволосая, со свисавшими на лицо русыми прядями, она стояла как не живая, вперив широко открытые глаза на пожарище. Только видно было как мелко дрожали ее руки, цепко прижимавшие к груди полураздетого ребенка.

— Залечь!—не своим голосом закричал майор, заметивший, как из-за спины женщины, справа и слева высунулись пулеметные дула.

Как бы в отместку за его команду пулеметы дали по нему очереди. Майор схватился за бок и упал; упало еще несколько казаков. Цепи застыли в нерешительности. И вдруг женщина пронзительно закричала:

— Стреляй, хлопцы! Стреляй в меня с дитём! Не жалкуйте жинку, угóду свою жалкуйте! Стреляй!

Казаки не стреляли.

— Итти на пулеметы! Только на пулеметы! В обход пойдешь—упустишь время,—думал каждый из них, и нужно было только движение руки или кивок головы майора, на которого

они не отрываясь смотрели, и цепи рванулись бы вперед, под пули на верную смерть. Но майор не двигался, а к дому, задами, по-одиночке и небольшими кучками уже перебегали немецкие солдаты, готовясь для контратаки.

Должно быть женщина поняла состояние людей, и жестоко забилась в державших ее руках, однако, вырваться не смогла. Она с тоской оглядела казачьи цепи и, набрав полную грудь воздуха, закричала звонко, как девушка:

— Сердца ще гораздо в вас, хлопцы! Жинку жалкуете! А як же витчизна наша?.. Ой, взрастите-ж добрым казаком хлопчика моего, Гараську Буслаева! Прощайте!

Она бросила в сугроб под окно ребенка и всем телом навалилась на пулеметы. Дико вскрикнув, сделала попытку подняться, что-то еще кричала. Но слов ее уже не было слышно за исступленным воем и визгом бросившихся в атаку казаков.

А когда бой переместился за дом, из него выбежал Толстов и, соскочив с крыльца, бросился к сугробу. Он отрыл надрывавшегося в крике ребенка, и укутал его полами халата.

— Эх, ты, хлопчик! Эх, ты, Гараська!—приговаривал он, оглядываясь по сторонам и не зная куда ему деть ребенка.

Мимо пробегали казаки и, указывая в переулок, кричали ему:

— Танки, танки!

Но Толстов, занятый своей думой, не слышал их, не двигался и стоял, покачивая Гараську.

— Спишь что ли, дядько?—толкая его, зло крикнул молодой казак, тащивший с другими противотанковую пушку. — Дивись, танки идут.

— А и пес с ними!—тряхнув головой и добродушно улыбнувшись, сказал Толстов.—Я казака Гараську Буслаева укачиваю, а ты, дурный, про танки орешь. Ну идем, что ли, Гараська, гадов бить.

Толстов засунул ребенка вместе с полами халата за пазуху и, слегка придерживая его, подошел к пушке.

Зарево пожара далеко освещало выгон, проходившую через него дорогу и дальше, до невысоких холмов, степь, обрамленную плавнями. Толстов увидел, как от холмов, куда, отстреливаясь, отходили выбитые с хутора немцы, двигались танки: четыре в ряд и один позади.

— Бачишь?—спросил Толстова все тот же молодой казак, и Толстов заметил как вздрагивала у него нижняя челюсть.

— Бачу! Только яки ж это танки?.. А ну, хлопцы, подайте снаряды.

Толстов выждал пока танки приблизились настолько, что

можно было разглядеть смотровые щели, и стал яростно посылать в них снаряд за снарядом.

— Эй, хлопче!—покрывая гул выстрелов, крикнул он казаку, у которого дрожала челюсть.—А ты зараз бачишь? Где танки? Це бывшие танки—металлом!

Два подбитых танка, накренившись, стояли на дороге и сильно дымили. Остальные повернули обратно.

— Ой, дядько, дивись!—ахнул один из казаков.—Своих давит!

Тарас решил направиться в обход хутора, к тому месту, где разведка обнаружила немецкие батареи. Когда же он приблизился к задам хутора, увидел, что батарей там не было, зато справа, за небольшой лощинкой, из за холмов медленно огибая их и выстраиваясь в боевой порядок, двигались четыре танка, а за ними небольшими группами шло до роты пехоты.

Обождав пока танки вышли на дорогу, он вывел машину из камышей, пересек лощину и, нагнав их, пристроился в затылок среднему. Немецкие солдаты тотчас стали группироваться возле него.

Передние танки, достигнув окраины выгона, открыли стрельбу. Тарас понимал, что и ему следует начать стрелять. Он дернул за халат Чухонина, но тот, сделав попытку встать, только чуть приподнялся и снова осел, и уже не шевелился. Тарас хотел было сам стать к орудию, но в это время танк, за которым он следовал, свалился на бок. Вздыбился и тут же задымил еще один. Два других танка развернулись влево и вправо и пошли назад. Проведя свою машину между ними, Тарас круто повернул и с полного хода врезался в гущу солдат, готовившихся для контратаки.

За лязгом и грохотом боя Тарасу не было слышно криков, раздававшихся возле него, но он видел багровые от зарева, перекошенные ужасом лица шарахавшихся немцев; видел, как они метались, ища укрытия, как мешались их цепи. «Я не жалковал в бою, а люте»—почему то вспомнил он слова отца, когда тот рассказывал о своих боевых делах.—А я истребляю, потому что ненавижу,—проговорил Тарас и расчетливо бросал свой танк из стороны в сторону в зависимости от того, где больше видел сгрудившихся немцев, опрокидывал их и давил, сея смерть и увечья, как семена своей ненависти.

Когда Тарас поворачивал машину, он видел, какую страшную дорогу оставлял за собою. Там, где прошел его танк, почти нигде не было ни пятнышка белого снега. Ему даже казалось, что кровь не успевала замерзать и в кровяных лужах

лежали и корчились кроваво-серые люди, то поодиночке, то кучами. Ему впервые приходилось видеть на таком малом пространстве такое большое количество убитых, но это не вызвало в нем ни удовлетворения, ни ужаса—он был охвачен ненасытным чувством мстительного истребления.

В поле зрения ему попалась дородная фигура офицера, который, выкатив глаза и ворочая ими, грозил ему автоматом и что-то кричал. Тарас зло рванул рычаг и повернул на него. Офицер отбросил автомат и, нелепо размахивая руками, побежал к камышам. Тарас нагнал его и сшиб. А когда повернул обратно, увидел, что все оставшиеся в живых солдаты уже бежали врассыпную к холмам, откуда мчались на его танк два немецких танка. И прежде, чем он успел сообразить, что ему следовало сделать, его машину подкинуло, она стала, а сам он был сброшен с сиденья.

— Подбит!—мелькнула, в отуманенной ударом голове, мысль.—Сейчас... надо стрелять!..—Нарочито громко и раздельно произнес он, как бы приказывая самому себе и, через силу поднявшись, протиснулся, через лежавшего Чухонина, в башню.

Сначала он стрелял не целясь и ожесточенно, чтобы только быстротой движений и грохотом привести себя в порядок и сбросить ту сонливость, которая после удара давила его. Когда ему стало легче, он, прильнув к смотровой щели, увидел, как оба танка, точно выжидая чего-то, кружат вокруг него.

— «В нерешительных делах остается победителем тот, кто упрямее».—Кто это сказал,—напрягая память, думал он.—Ах, да! Раевский после Бородина... А я под хутором... Как он называется?.. Э-э, да чорт с ним, не все ли равно. Важно, как Раевский, кто упрямее.—И собрав всю силу своей воли, он заставил себя внимательно навести орудие на танк, который был ближе к нему, и выстрелил.

Тарас разглядел за пороховым дымом, что снаряд разорвался выше гусеницы и покоробил плоскость. Танк закружился на месте. Тарас стал стрелять в него беспрерывно, почти ничего не видя от дыма и чада, пока глухой звук взрыва и сноп пламени не подсказали, что танк взорван.

Он хотел отыскать второй танк, но вдруг перед глазами поплыли зеленые и фиолетовые круги, то уменьшаясь, то растягиваясь, плыли все быстрее и быстрее. Сделалось нестерпимо душно. Он непроизвольным движением быстро открыл замки люка, но поднять крышку уже не было сил.

Тарас медленно опускался на сгибавшихся ногах и затих. Он сощурившись, точно разглядывал лежавшего перед ним Чухонина, но уже ничего не видел и не слышал. Только где-

то в самой глубине его сознания чуть вспыхивала и тоненько вызванивала искорка: «кто упрямее... кто упрямее... кто упрямее...»

— Теперь он очнется,—услышал Тарас далекий, гудящий голос.

— Это про меня,—лениво подумал он. Но на глазах лежала такая прохладная усталость, в такой приятной истоме покоилось тело, что ему не хотелось ни шевельнуться, ни спросить: где он и кто с ним?—лишь бы возможно дольше сохранить состояние тихого успокоения и чувствовать, что он жив. Тарас глубоко вздохнул и вместе со вздохом что-то острое, будоражное и освежающее пронизало мозг. Он невольно открыл глаза: над ним склонялось усатое лицо комиссара Гетько. Кто-то еще стоял рядом с ним, но Тарас не видел, кто это был. Чей-то прерывистый настойчивый голос бубнил за головою:

— Вы уж лучше сейчас поставьте.

— Поставлю, поставлю, дорогой,—отвечала женщина. — Лежите только спокойно.

— На левой руке поставьте, у локтя... Один нынче у меня крестик.

— Чухонин,—улыбаясь, подумал Тарас и радостно, точно узнавая, взглянул на комиссара и закрыл глаза.

Он заснул сразу, как уставший ребенок, крепко и спокойно.

А вдали с возрастающей силой ухали орудийные залпы. В посветлевшем небе в грозном рокоте летели самолеты. От хутора еще тянулись над плавнями и холмами бурые космы дыма, а по дороге от него, из-за Дона, на запад уже нескончаемо двигались советские танки, мотопехота и артиллерия.

Александр Атавин

БАЛЛАДА

Памяти коммуниста Потерина, телом своим заслонившего амбразуру вражеского дзота

На Запад разгромленный враг побежал,
Оставив советский Калинин.
И ливень свинцовый
Его настигал
На русских
Широких равнинах.

Тяжелые танки
По снегу ползли,
Топча и ломая преграды.
И черные глыбы
Промерзшей земли
Взлетали от взрывов снарядов.

И пепел кружился
Над полем, как снег,
На лицах у нас оседая.
Подкошенный дуб
Среди вспышек огней
Лежал, на ветру дотлевая.

Мы шли.
Заносило дороги пургой,
Враги огрызались, как звери.
И с нами отважный
Шагал рядовой —
Бесстрашный
И смелый Потерин.

Враги укреплялись,
Вгрызались в снега,
Свинцом поливали из ДЗОТ'а.
И мы залегли в ста шагах от врага
Под сильным огнем пулемета.

Нас злоба душила.
С волненьем в груди
Вели мы свое наступленье.
В четыре атаки
Бросал командир
На немцев свое отделенье.

Но враг не сдавался.
Теряя бойцов,
Лежали мы в снежном тумане.
И лютая стужа
Дышала в лицо
Своим леденящим дыханьем.

Застывшей рукой
Указав на бугор,
Сказал командиру Потерин:
— Дозвольте из ДЗОТ'а,
Товарищ майор,
Мне выкурить этого зверя.

И вот по-пластунски,
Врастая в снега,
Под жарким огнем пулемета
Ползет он
Все ближе к окопам врага,
Все ближе к немецкому ДЗОТ'у.

— Посмотрим, кто крепче,
Чья сила возьмет.
Трусливых у нас не бывает...
И вот захлебнулся,
Замолк пулемет.
Лишь ветер в лесу завывает.

Мы пятой атакой
Слюмили врагов.
На Запад поток покатился...
И тих и пустынен
Последний их кров,—
ДЗОТ в снежной метели дымился.

Шумел почерневшей
Верхушкою лес.
Бойцы были грустны и хмуры.
Лежал перед ними
Отважный боец,
Собой заслонив амбразуру.

Он умер героем.
Он честно служил,
Как служат стране патриоты.
Во имя победы
Он жизнь положил
На хобот стальной пулемета.

С. Радзиевская

ВИТЮК

Звонкий, удивительно ясный и нежный звук колокольчика слился с первым ударом старинных стенных часов на потемневшей бревенчатой стене. От усердия Витюк весь раскраснелся, наклонил голову на бок и, держа колокольчик в высоко поднятой руке, звонил и звонил, не отводя глаз от разрисованного циферблата.

«Восемь»—старческим разбитым голосом отсчитали часы и умолкли. И тотчас же смолк и колокольчик. Витюк еще некоторое время держал его в руке, осторожно приближая к нему

ухо, словно ловя последний его серебристый вздох, и серые глаза мальчика светились тихо и сосредоточенно. Затем, тоже вздохнув, поставил колокольчик на низенькую полочку на стене под часами и повернулся к столу бухгалтера, Андрея Ивановича.

— Бякал. Лоботай!—коротко возвестил он и деловито направился к двери.

— Молодец ты у нас, брат-сват. —одобрительно проговорил бухгалтер.—Никак с тобой не опоздаешь! — И тут же привязав новую тесемочку к погнутым очкам в серебряной оправе, замотал ее за ухо вместо отсутствующего заушника, а другой рукой быстро защелкал белыми и красными костяшками счетов.

Витюк покосился было на его руку в черном сатиновом нарукавнике—уж очень заманчиво было потрогать блестящие костяшки. Но тут же, вспомнив что-то еще более нужное, торопливо перелез через высокий порог и исчез за дверью. Утро кончилось, начинался день.

Так начинался он на пункте Заготзерно уже несколько месяцев подряд—с того времени, как появились в Домодедовке Дарья сторожиха и Витюк, а с ними—самое драгоценное имущество и гордость Витюка—бронзовый тонко-резной колокольчик с витой бронзовой же ручкой.

Все трое быстро и крепко вросли в жизнь пункта: тетка Дарья мыла полы и носила пакеты в райком и на почту, служащие пункта делали, что кому полагалось, Витюк же жил и действовал всюду: во дворе, в конторе, и в складах, полных бледно-золотого овса и пшеницы.

Серые глаза его смотрели из-под длинных ресниц доверчиво- пытливо; видно было, что обладатель их не предполагает в мире ничего кому, Витюку, враждебного, однако, все желает узнать и исследовать. Благодаря этой неугомонной пытливости Витюк и в мирной обстановке пункта ухитрялся вести жизнь, полную тревог и опасностей.

Особенно не везло ему с подарками, на которые были щедры все служащие Заготпункта, а особенно Андрей Иванович.

— Держи, Витюк,—говорил он утром, просидев с пилкой и ножом весь вечер, и ставил перед ним на пол великолепную повозку с красными катушечными колесами.—Подбери лошадь по телеге и хозяйничай.

— Сибо,—коротко отвечал Витюк, деловито осматривая подарок, хотя глаза его сияли от удовольствия, и немедленно утаскивал повозочку за веревку на двор.

— Опять озорничать пошел, баловник?—подозрительно высовывалась из двери тетка Дарья, видя, что церемония со звонком уже окончена. Но тут же ее отвлекал очередной па-

кет или самовар, и Витюку удавалось благополучно ускользнуть.

— Несчастье ты мое,—раздавались вскоре ее причитания в то время, как она мокрой тряпкой примачивала ему вспухшую разорванную губу с висящим кусочком кожи.—Да что ты с ним, с проклятым, утворил?

— Запьягал,—невнятно мямлил Витюк через раздутую губу, но непросохшие от боли и испуга глаза его уже снова блестели неукротимым огоньком предприимчивости.—Индюка. В коляску. Вот!

— Что же ты это, брат-сват,—пугался Андрей Иванович, в волнении вскакивал и, пытаясь снять ручки, еще крепче замотывал тесемкой левое ухо, так, что оно краснело и заворачивалось в трубочку.—Дарья, ему нужно борной кислотой примочить!

— Ладно уж,—ворчала Дарья, отворачиваясь, чтобы выжать мокрую тряпку.—Дите—кислотой, еще выдумаете, ужо и так присохнет. Да где он подевался то?

Но Витюка уже не было в конторе—присев на дворе над коровьим корытом он, подражая матери, старательно примачивал горевшую губу и, наклонив голову, задумчиво рассматривал в воде свое изображение.

На этом злоключения Витюка не кончались. Серая многодетная кошка Михрютка отличалась нравом угрюмым, но мирным. Поэтому служащие пункта дружно ахнули при очередном утреннем появлении Витюка: нос и голые руки его украшали глубокие царапины, а одна шла по щеке до самого глаза.

— Доил,—как всегда лаконично возвестил Витюк, останавливаясь у порога. — Милютку. А она не хотела. Вот!

В исцарапанной руке он крепко держал игрушечный глиняный подойник, показывая его отбитый край. Видимо, объяснение с Михрюткой было длинное и бурное.

— Это потому, что у нее рог нет,—утешил его директор пункта, и, подхватив Витюка на руки, высоко подкинул его кверху.—Ты ее сенцом подкармливай, как мамка козу кормит, видал? У нее рога и вырастут, а тогда ее и доить можно будет. Понял?

— Понял,—серьезно отвечал Витюк, болтая в воздухе ногами.—Пусти.

К вечеру Андрей Иванович, проходя по двору, остановился в недоумении: Витюк сидел на корточках перед пустым ящиком, в котором Михрютка растила свое пестрое потомство и, положив перед ней пучок травы, заботливо ощупывал ее серую лобастую голову с разорванным ухом.

355698 НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

— Нет, логов,—вздыхая, шептал он.—Кусай, кусай, Михлютка!

Михрютка подозрительно косилась на его руки, но, ввиду отсутствия в них подойника, военных действий не открывала.

С садоводством Витюку везло не больше. Пункт Заготзерно находился на самом берегу ленивой маленькой речки Незванки. Между речкой и идущей вдоль нее проезжей дорогой, на самом берегу, чуть отступя от обрыва, росла старая дуплистая береза, а у ее подножия красовалась цветочная грядка—гордость Андрея Ивановича и Витюка. Постоянными ее обитателями были мальвы, ноготки и анютины глазки. Но кроме них, на свободных местах, каждое утро появлялось пестрое бродячее население: ромашки, колокольчики, иногда просто зеленые веточки ивы и орешника. Пыхтя от усердия и усталости, Витюк таскал в игрушечном ведре воду для поливки. Но это не помогало: к вечеру пришельцы опускали головки и увядали. Витюк рвал свой посадочный материал без корешков и втыкал его прямо в землю, твердо веря в спасительную силу поливки.

— Опять сору натащил, брат-сват, — говорил к вечеру Андрей Иванович, расставляя палочки для душистого горошка.—Говорил я тебе, что без корешков расти не будут!

Витюк, вздыхая, молча вытаскивал завядшие стебельки, но утром, отзвонив в положенное время, упрямо тащил целую охапку свежих цветов и, воткнув их в землю, тотчас же принимался за поливку.

Однако, сколько бы хлопот с прочими делами у него не было, главной своей обязанности Витюк не забывал. Отзвонив утром на работу, к четырем часам дня он бросал самые увлекательные дела и, где бы ни находился, спешил в контору, чтобы звоном колокольчика возвестить официальный конец рабочего дня. Если бы позвонил кто-нибудь другой, Витюк был бы безутешен. Колокольчик был его собственностью, он один имел право взмахивать им одновременно с боем часов и наслаждаться его угасающим звоном.

Отзвонив, Витюк опять поворачивался к Андрею Ивановичу, потому что настоящим хозяином пункта признавал только его, и произносил так же деловито: «Тупай, бъякал». Затем ставил колокольчик на полочку и, заложив руки за спину, некоторое время сосредоточенно разглядывал резной бронзовый бок его, точно прощался до следующего дня.

— Молодец ты, брат-сват, как я погляжу,—похваливал Андрей Иванович, аккуратно размотав тесемочку и старательно укладывая очки в старый футляр с протертыми углами.

— А еще сегодня звонить будешь?—спрашивал он.

— Нельзя,—серьезно отвечал Витюк,—поматывая головой.—Завтра буду.

Он внимательно наблюдал за тем, как Андрей Иванович складывал бумаги, запирал стол, прятал ключ в карман и, одной рукой надевая старенькую кепку, другую протягивал ему.

— Ну, брат-сват,—произносил он при этом, —идем смотреть, чего нам хозяйка сегодня наварила.

— А у нас что, своей каши в печке нету?—самолюбиво ворчала Дарья, но Андрей Иванович только отмахивался.

— Ты ее и ешь на здоровье, а нам не мешай: знаешь, что мне в одиночку еда в горло не лезет.

В жизни одинокого, молчаливого и застенчивого старика Витюк был единственной радостью, размеров которой он и сам не подозревал. Жизнь его в уютной Домодедовке катилась нечувствительно, как струйки Незванки, такие тихие и спокойные, что непонятно было—откуда брались в ней гладко обточенные голыши?

И вдруг все переменилось. По дороге мимо пункта пошли и поехали с песнями красноармейцы, потянулись повозки, загромыхали какие-то удивительные телеги и Дарья сказала Витюку, что это танки. Один веселый молодой красноармеец схватил Витюка на руки и, подкинув его куда выше, чем директор пункта, сказал: «Эй, держи сахар крепче. Хочешь с нами на войну?».

— Хочу,—сказал Витюк невнятно, потому что кусок был большой и языку стало сладко, но тесно.

— Молодец!—закричал веселый красноармеец и, поставив Витюка на землю, побежал догонять своих, придерживая на боку лопатку с короткой ручкой.

В это время в конторе Андрей Иванович, бледный и точно еще больше похудевший, ходил из угла в угол, сильно размахивая руками.

— Да сюда война и не докатится,—говорил директор, успокаивая встревоженного старика.

— А ты пойдешь на войну?—спросил Витюк, успев дососать свой сахар и не на шутку надулся, потому что Андрей Иванович впервые не только не ответил ему, но даже не взглянул в его сторону.

— Утро уж больно хорошо, самое—чтоб мешки стирать,—сказала Дарья через несколько дней после этого разговора и, сойдя с крутого берега к Незванке, нагнулась уже, чтобы сбросить с плеча на самые мостки тяжелую связку мешков.

Но связка шлепнулась мимо мостков в воду, а Дарья, не замечая этого, неподвижно смотрела на что-то в кустах на другой стороне. Подняв руки, она машинально нащупала и затянула потуже узел платка, еще постояла и вдруг, тихо охнув, всплеснула руками и, пригнувшись, побежала вверх, не по тропинке, а сбоку, прячась за кустами.

— Идут!—крикнула она, вбегая в контору. Там!—и тут же замолчала, прислонившись к притолоке. Посредине комнаты, спиной к двери, стоял человек в каске и незнакомой одежде, с винтовкой в руках. Он говорил что-то непонятное громко и сердито, а в углу комнаты, у стены, стоял Андрей Иванович. Одной рукой он держался за сердце и дышал часто и прерывисто, за другую руку его схватился Витюк и, прижимаясь к старику, смотрел на чужого широко открытыми глазами.

Немец еще раз пролаял что-то и, не получая ответа, сердито махнул рукой и повернулся к двери, которую все еще загораживала неподвижная Дарья.

— Fort! (Прочь!)—крикнул он, и вдруг остановился: утренний косой луч солнца упал на полочку под часами и тонкая резьба колокольчика засветилась живым золотом.

— Sehr nett (очень красиво)—проговорил немец совсем другим, довольным голосом и уже ухватил цепкой красной лапой витую ручку колокольчика. Но в ту же минуту Витюк встрепенулся и, вырвав руку из руки Андрея Ивановича, кинулся вперед.

— Не бякай!—крикнул он громко и сердито,—нельзя!

Немец вздрогнул от неожиданности и еще сильнее рассердился.

— Zum Feufel! (К чорту!)—крикнул он, пиная вцепившегося в его руку мальчика. — Du, Raugenichts! (Ты, бездельник!)»

Но Витюк боролся отчаянно: выпустив руку, он изо всех сил вцепился в оплетенную обмотками ногу немца, мешая ему идти.

— Не бякай!—повторил он.—Нельзя!

На улице послышались крики и шум, немец рванул ногу и споткнулся.

— Zum Feufel! (К чорту!)—крикнул он еще раз и взмахнул рукой. Что-то глухо звякнуло. Витюк раскинул руки и упал навзнич: удар тяжелым бронзовым колокольчиком пришелся ему прямо в висок.

Крик Дарьи был заглушен диким воплем Андрея Ивановича.—А-а-а-а...—закричал он и, точно выйдя из оцепенения, схватил тяжелый ясеневый стул и, неумело размахнувшись, изо всех сил ударил немца по голове. Удар пришелся по каске; ошеломленный немец выпустил ружье и пошатнулся. Андрей Иванович замахнулся вторично, но ножка стула зацепилась за

угол шкапа. Он неуклюже дернул ее, но в это время шум на улице усилился, послышались выстрелы, крики «ураа!». Немец, не поднимая упавшего ружья, кинулся к двери и исчез.

Колокольчик с глухим стуком прокатился по полу и, звякнув, остановился. Лежа на полу около Витюка, Дарья прижималась губами к его головке и шептала ему что-то с отчаянной безумной настойчивостью.

— Витик,—повторяла она.—А ну встань, встань, детонька моя. Витик, а ну подыми головку...

Так их и застали вошедшие в контору красноармейцы. Андрей Иванович—все еще со стулом в руках—смотрел на них не шевелясь и как будто даже спокойно.

— Что тут произошло?—резко спросил молодой сержант и замолчал.

— Дяденька, чего это тут сделалось?—повторил он дрогнувшим голосом.

Но Андрей Иванович не отвечал. Не слышала ничего и Дарья.

Витюка хоронили под вечер. Разбежавшиеся жители Домодедовки еще не вернулись, маленький гробик из оторванных от забора досок сделали наспех те же красноармейцы. Дарья молча, с сухими глазами, подняла с пола и вложила в сложенные ручки бронзовый колокольчик. Язычок его коснулся бронзового края, раздался тихий, тотчас же угасший звук.

И тут Андрей Иванович, точно проснувшись, встал и отодвинул стул, на который перед тем бесчувственно дал себя усадить красноармейцам.

— Помню!—сказал он ясным, без обычной застенчивости голосом,—все помню!

Протянув руку, он взял поставленную кем-то в угол винтовку немца и пристально посмотрел на спокойное личико Витюка.

— Эх, брат-сват,—договорил он тише, махнул рукой и, отвернувшись, направился к двери.

— Куда ж ты винтовку-то?—начал молодой красноармеец и осекся.—Без патронов она, ведь, — извиняющимся голосом договорил он.

— Достанет,—сдержанно отозвался пожилой красноармеец и, повернувшись к Дарье, тихо добавил:—Мать, не круши ты себя, дай-ко мы его подымем, а то нам собираться пора.

Маленькую могилку насыпали над рекой у старой березы, осторожно, чтобы не помять и не засыпать грядку, на которой еще стояли, опустив головки, цветочки Витюка.

БЕЙ ВРАГА!

Тверже, товарищ, печатай шаг.
Выше знамена взмой!
Черною тучей простерся враг
Над нашей отчизной родной...
Народ наш свободен,
как мысли взлет,
Он любого врага сильней!
Враг ветер посеял —
бурю пожнет.
Бей врага,
бей!
Помнят бельгиец,
чех,
француз,
Грек,
норвежец,
поляк,
Как бросал
смертоносный груз
На их жилища враг.
Как обрывал он
кровавой рукой
Жизнь женщин,
детей,
стариков.
Как разлилась
по Европе рекой
Зовущая к мщению кровь!
Запомним и мы предрассветный час
Июньского дня навсегда.
Подлый пират
напал на нас
И стал бомбить города...
За то, что полей цветущих простор
Разбойничья топчет нога,
За кровь детей,
за бесчестье сестер —
Бей врага!
Над миром простерлись
паучьи лапы,
Пасть шакалья оскалена.

Север,
юг,
восток
и запад —
Вставай
под знамена
Сталина!
Угнетенные всех стран,
Знамя борьбы взвей!
Кто бурю посеял —
пусть жнет ураган,
Бей врага,
бей!
Бешеным псам
несем мы месть
за братьев,
отцов,
друзей.
Вперед —
за свободу,
за счастье,
за честь.
Бей врага,
бей!

Исай Тобольский

* * *

Он умирал.
В разгоряченной памяти
Вставал тот день и бой на берегу.
— Я верю, лейтенант, вы не оставите,
Не отдадите этот мост врагу...

...Полк отходил, в заслон оставив горсточку.
— Есть не отдать!
И цель была ясна.
...Он умирал.
В распахнутую форточку
Дышала неспокойная весна.

А там,
В огне великого пожарища,
Вот в этот час
За Родину и честь
На смертный бой

Идут его товарищи,
Неся в груди
Клокочущую месть!..

...Крутой обрыв —
Здесь балками железными
В сплошном огне
Щетинится река.
Отходит враг.
Разбитый мост над бездною.
Здесь немцу смерть,—
И смерть—наверняка!..

Таков закон,
И так веками водится,
И потому мы в битве победим —
Что если гибнуть русскому приходится,
То в десять больше
Немцев гибнет с ним.

Июль, 1942 г.

М. Поликарпов

ПЯТИДЕСЯТЫЙ ИЗ ОТРЯДА

(Рассказ-быль)

Стыл январь. Над лесом висела луна. У седого дуба стоял седой командир. Он стоял неподвижно и тяжело молчал. Но каждый знал, что скажет сейчас командир. Он прикажет сейчас кому-то умереть. Бойцы смотрели себе под ноги, они не могли взглянуть друг другу в глаза.

Кто-то из них должен сейчас умереть. Это неизбежно. Вон там, недалеко от них, с одного обрывистого берега на другой перекинут мост. По мосту скоро пройдут фашистские танки. Они принесут с собой тысячу смертей.

Но разве это можно допустить? Командир, конечно, думал, как избежать и этой одной смерти, спасающей тысячи жизней. Однако, выхода не нашел.

— Обстановка сложилась так...—наконец, сказал командир и оборвал фразу.

Он понял, что говорит не то. Не эти слова нужны теперь. Он чувствовал, что бойцам все ясно. Кто-то из пятидесяти должен умереть, и все. А остальные 49 из отряда должны ждать взрыва и использовать его для того, чтобы уничтожить танковую колонну.

Взрыв должен последовать в тот момент, когда на мосту будут основные силы противника, когда немецкие машины

войдут на мост почти все. А они уместятся на этом длинном и широком мосту. Очевидно, они так и должны сделать. Иначе немцы и не могут поступить. Ведь они готовят массированный удар по нашему переднему краю обороны.

Командир все рассчитал еще тогда, когда получил в штабе приказ. Командир взял с собой 50 комсомольцев и ушел вперед, к лесу. И вот теперь он стоял у дуба крепкий, как дуб.

— Кто пойдет? — глухо спросил командир.

Но сдавленный голос его отозвался в сердце пронзительным криком. Бойцы дрогнули, но остались на месте.

Не двинулся с места и Виктор Калякин. Он только поднял к лицу руку в лохматой рукавице, да так и замер с ней.

Виктор неподвижно смотрел на рукавицу и силился припомнить, где он видел ее. Странно знакомая рукавица.

И он вспомнил как это было.

Вместе с товарищами Виктора пригласил к себе в землянку командир. Он сказал:

— Сегодня канун нового года. Садитесь, ребята.

Командир разлил по фляжкам водку и уже хотел выпить свою порцию. Но вдруг отставил фляжку в сторону и протянул руку к рукавицам Виктора. Их Виктор держал за поясом. Они были ярко желтые и от них еще пахло овчиной.

— Подарок?—спросил командир, рассматривая узоры на рукавицах.

— Подарок, товарищ командир, — ответил боец. — Вот смотрите и надпись: «Дорогому Виктору от товарищей с Волги».

— Вы волжанин?

— Саратовский я. Училея в средней школе. Оттуда и прислали.

Глаза Виктора загорелись:

— Девчата прислали, из 9-го «Б». Старостой я у них был в классе.

Командир сел поудобнее.

— Говорите,—попросил он.

— Думали пойти в горный институт. Теперь, конечно, смешно, а тогда всерьез гадали: станем учеными и всем классом в разведку на луну. Это было давно. Подрастать стали, уму набираться стали. Луна, конечно, попрежнему прельщала, но мы ее пока использовали по-земному.

— Целовались?—спросил боец, сидевший рядом с Виктором.

Он спросил об этом как-то слишком серьезно, и Виктор ответил также:

— Целовались.

А потом улыбнулся и продолжал:

— Была у нас хороводница такая. Наташей звали. Хорошая девушка. Рукавицы это она выдумала. Вот и письмо.

Виктор достал из потайного кармана голубой измятый конверт:

— Читайте.

Командир прочитал письмо вслух. Вот оно, это письмо:

«Дорогой Виктор! Я и все девушки помним о тебе каждую минуточку. Мы волнуемся за тебя. И часто я вижу тебя во сне. Вчера ты приснился мне большой пребольшой и в комбинезоне летчика. Кем ты воюешь, напиши, не томи нас, христа ради.

Не думай, что это только любопытство. Ты понимаешь, это... это я и не знаю, что такое. Трудно писать, не зная, где ты. Все мы знаем, что фашисты лютые и страшные, но мы знаем, что ты... одним словом береги себя, пожалуйста, Виктор...

Вчера я и Надя Волкова ходили к твоим старикам. Мать стала уже седой, т. е. она и была старенькая, но она еще ничего.

Только убивается по тебе. Отец работает на восьмирамном. Очень он любит тебя, Виктор.

В общем, все мы тебе желаем счастья и успехов. Только... Больше писать не могу. Кланяйся своему командиру и всем ребятам. Рукавицы посылаю. Наташа.»

Командир поднял от письма свои серые умные глаза и молча потянулся за флягой.

— Выпьем за саратовских девчат, друзья, — сказал он весело и чокнулся с Виктором.

Вот как это было. А потом снова были бои. Виктор ходил в атаку и грудь его согревало Наташино письмо. Рукавицы он сберег вот до этого дня.

Виктор повернул поднятую к лицу руку, сжал в кулак, и новая овчина мягко зашуршала. Командир следил за бойцом. Он видел, как простой паренек из Саратова прощался с жизнью. Еще секунда, еще полсекунды, и все будет кончено. Вот сейчас он повторит свой вопрос, и тогда Виктор шагнет вперед. И как это часто бывало, за ним шагнут еще несколько человек. Но уже будет поздно. Не им суждена минута величия, не они смертью смерть попрали, не они первые!

Командир передохнул. Сколько это длилось? Не больше минуты. А казалось вечностью. Командир повторил свой вопрос:

Кто пойдет?

Командир смотрит теперь прямо в глаза бойцам. Они подняли головы, и 50 пар глаз горят огнем решимости. Командир плотнее прислонился к дубу. И вдруг к нему шагнули 50 ком-

сомольцев. Шагнули, как на плацу во время смотра. И мерзлый снег содрогнулся от одновременного удара 50 пар сапог.

Такого еще не было. Командир задохнулся от волнения. Он не сказал, а только хотел сказать, но его поняли. Так или иначе, но поняли.

— Метать жребий!—сказал Виктор и снял ушанку.

Один за другим подходили к ушанке бойцы и тянули свое право на смерть.

Пусть об этом потом рассказывают в сказках, пусть в песнях поют. Но сейчас это только факт. И о нем я говорю только, как о факте, может быть не осмыслив еще всей силы его, не раскрыв по-настоящему истоков бессмертной нашей действительности, которая родила отряд бойцов и в числе их — простого саратовского школьника Виктора Калякина.

Виктор вынул жребий последним. Боец, не торопясь, одел ушанку и пошел вперед. Потом он спохватился и вернулся назад. Комсомолец захватил с собой еще один ящик со взрывчатым веществом к тем, что уже были заложены под мостом. Он потащил ящик за собой. Прощаться с товарищами боец не был в силах. Он даже не взглянул на них.

Скоро все было кончено. 49 бойцов, находившихся в засаде, слышали потрясающий взрыв. Но командир не только слышал, но и видел все. Он стоял у седого дуба, седой, как дуб, и шершавой ладонью сбивал замерзшую слезу. Потом он скомандовал:

— Гранаты к бою, за мной!

С. Розанов

НИКОЛКА..

(Рассказ написан по воспоминаниям участника Отечественной войны старшего политрука В. С. Демидова)

Было это ранней зимой, когда фашистские захватчики, после неудачных попыток прорваться к Москве, получили крепкий удар и покатились назад. Отдельные вражеские части еще держались клином вдоль шоссе. Наш батальон получил боевое задание: зайти в тыл, взять шоссе—перерезать пути отступления и уничтожить врага.

Утром мы подошли к деревне Паново, тихо, неслышно. Падал редкий снежок. Крупные хлопья, легкие, как лебяжий пух, плавно опускались на наши шинели и таяли. Издали доносились глухие взрывы, будто сама земля тяжело вздыхала и охала, потрясенная железным чудовищем войны.

Я сидел на опушке леса и разглядывал карту. Вот они — леса, по которым мы шли всю ночь, вот черные прямоуголь-

ники—деревушки, а вот и шоссе—две тоненькие линии, словно две наезженных колеи. Сейчас там, наверное, ползут фашистские танки, мчатся автомашины со снарядами. Спешат на помощь... Железная смерть накололась у Москвы, обломала паучьи лапы. Мы должны навсегда оборвать ее путь. Все, от малого до старого, весь народ поднимайся на смертный бой! Смерть смерти! Я смотрю на знакомые, родные лица бойцов. Они сидят под деревьями и закусывают. Это уже другие лица, не те, которые я знал до войны—простые, с ясным, душевным взглядом. Нет, суровые глаза—вот что отличает их, даже сквозь улыбку я чувствую непоколебимую твердость и будто слышу, как повторяют они за мной:

— Смерть смерти!

А хорошо сейчас в лесу. Он полон своеобразного запаха. В свежей чистоте морозного утреннего воздуха можно уловить, как различно пахнут и березовые рощи, и дубняк, и осинник... А в желтых листьях, запорошенных снегом, еще сохранился запах лета. И думается—все на земле создано для радости человеческой. Так как же это могло случиться — вот там по шоссе ползет насилие и смерть, людоеды шагают, закованные в броню...

— Дядя, дядя-я!

— Что такое? Сейчас около меня—ясно слышимый детский шопот! Это было так неожиданно, и вместе с тем до того близок и дорог показался мне ребячий голос, что я некоторое время молча смотрел на стоявшего передо мной паренька. Он явно торопился—лицо его раскраснелось, малахай был сдвинут на затылок и на лоб выбивались растрепанные взмокшие вихры. А на самом верху шапки, из-за козырька выглядывали две желтых, измятых соломинки.

— Дядя,—повторил он,—а я знаю—во-он в энтой деревне немцы стоят. И вот в энтой...—Он провел рукой по воздуху, указывая направление, шмыгнул носом и ловко вытер рукавом от самого локтя.

Сколько ему было лет? Может быть, восемь, девять, не больше. Пытливые глаза его ясно, по-детски смотрели на меня.

— Откуда ты взялся? — спросил я.

— А я с Панова, вот тут за лесом деревня, не видно ее отсюда. Да там и осталось два двора—все они пожгли. А мы в лесу, корова у нас тут, а то бы и ее фашисты зарезали...

Говорил он торопливо, будто не это было главное.

Он серьезно и шустро следил за каждым моим движением, и по глазам его было видно, что он рад встрече. Да разве можно было сомневаться в его чистом детском взгляде? Нет, эти вихры, этот чуть вздернутый нос—родные мне.

— Дядя, идемте я вас провожу тайком хоть в энту, хоть в энту деревню. Я тут все дороги знаю. Еще когда фашисты наступали, я с нашими войсками все обходил... Еще и в бою был...

Около нас собрались бойцы, и через несколько минут мы стали с Николкой друзьями. Мы получили от него почти полные исчерпывающие данные о противнике, а он—вкусный завтрак: сыр с маслом, ветчину и банку сладкого компота.

Через час мы подходили к шоссе. Как и уверял Николка, нас никто не заметил. Первая же колонка автомашин стала нашей добычей. Мы залегли вдоль шоссе в кустах и открыли огонь из автоматов. Фашисты, бросив машины, кинулись в канаву, беспорядочно отстреливаясь.

Пули защелкали по кустам, посыпались срезанные ветки и снежная пыль.

Я почувствовал, что кто-то завозился позади меня и оглянулся. Это был Николка. Он не послушался приказания и выполз из лощинки.

Он был полон боевого азарта. Шапка его сбилась на бок и единственная завязочка, черная с узелком, быстро раскачивалась из стороны в сторону.

Николка проворно и ловко подползал к нам, выбирая ложбинки, пригибаясь за бугорками. А в минуты сильного огня он словно прилипал к земле, даже голову свою клал на бок. Я хорошо видел, каким торжеством горели его глаза. Наша победа—его победа, и как же дорога она детскому сердцу! Это гордая память на всю жизнь—он сам участвовал в боях за родину.

— Куда ты ползешь, убьют!—крикнул я ему сердито.

— Не-ет, я привычный!—звонко откликнулся он. И уже совсем рядом вытащил из кармана кожушка целую горсть светлых, отшлифованных временем патронов и протянул мне.

— Вот, может, годятся. Я их набрал еще когда фашисты наступали.

Что оставалось делать. Я взял эти патроны и сунул в свой карман.

Скоро закончился бой. Никто из фашистов не ушел от наших снайперов. Мы закрепились на шоссе и двинулись в обход к деревушке, где стояла крупная часть противника. Николка торопливо шагал рядом со мной, размахивая рукавами шубняка. Он гордо смотрел по сторонам. Кто знает, может быть, сейчас ему очень хотелось встретить своих деревенских друзей.

— Дядя, дай я понесу чего-нибудь.

Один из бойцов передал ему магазин к автомату. Он повертел в руках, попробовал на вес, и с улыбкой, в которой явно сквозила безнадежная просьба, сказал:

— Тяжелая... А с ней одной ничего не сделаешь. Мне бы нага-ан.

— Настоящий?

— Да! У-ух и пострелял бы я по фашистам!

Какая горячая ненависть была в словах Николки! Он поднял на меня большие серые глаза.

Я обнял Николку, и мы зашагали быстрее под гору, продолжая беседу.

— Одно у тебя плохо, браток,—сказал я — дисциплина страдает.

— Как страдает? — Николка нахмурился.

— На первых боевых шагах в нашем отряде ты не слушаешься.

— А чего?

— Тебе было сказано: сидеть в лощинке, пока не кончится бой, а ты не исполнил приказ командования и лезешь под пули.

— Да-а, чего же это я буду сидеть один! Там боязно. А потом же оттуда ничего не видно.

Шли мы лесными тропинками. Снег повалил гуще, налипал на ветвях гроздями. Лес побелел. Только позади нас оставались темножелтые стежки взъерошенного листа, притоптанного в снеге.

Около самой деревушки нас встретил сильный огонь противника. Видимо, враг приготовился к бою и засыпал нас минами. Неожиданный грохот взрывов перепугал Николку. Он пригнулся и побежал назад. Ветки хлестали его по лицу, сбили шапку. Я видел, как остановился он, мечущимися глазами пробежал по земле, отыскивая свой малахай. Не растерянность у него была на лице, а досада, обида. И в это время перед ним хлопнулась мина. Я успел из-за черного дыма заметить только, как упал Николка у старого дуплистого дуба... Мы не остались в долгу у фашистов. Скоро огонь противника был подавлен. Пора начинать атаку, я это чувствовал по тому накипавшему в душе огустку злобы, которая появлялась у меня в такие минуты и толкала вперед.

Я поднялся и крикнул во весь голос:

— Вперед, товарищи! За мной!

И вдруг позади раздался звонкий детский голосок Николки:

— Бей фашистов!

Я словно вновь родился в этот миг. Радость так и хлынула во мне горячей струей. Несмотря на свист и грохот смер-

ти, я улыбнулся. Мне было весело от того, что рядом со мной, подскакивая, вихрем неся вперед мой новый друг Николка—малыш, юный сын русского народа, смекалистый и смелый.

К вечеру мы заняли деревню.

А на утро Николке надо было уходить—наша задача требовала продвижения дальше в тыл неприятеля.

Бойцы подарили Николке новую шапку из дымчатой шелковистой цыгейки.

— Ну, браток, теперь топай домой, на печку, — говорили они, дружески поглаживая непокорные вихры на голове Николки.

Он сначала не понял и еще шире открыл свои большие серые глаза. Ему, наверное, казалось, что теперь он сам стал настоящим бойцом, что отныне жизнь его будет полна смелых боевых приключений. Все, о чем он мечтал, наконец сбылось. И вот снова...

Николка кинулся ко мне.

— Дядя, я не хочу домой, возьмите в отряд!

Что скажешь ему? То, что происходило сейчас в его душе, было дорого и понятно мне, будто я сам переживал это. Жалко было расставаться с ним, но это нужно было сделать.

— А ты не горюй, Коля, сказал я ему.—Мы еще встретимся. Понятно?

Долго он стоял молча и осторожно, ласково поглаживал шелковистую шерсть шапки.

Вдруг он решительно, обеими руками нахлобучил шапку до глаз и ответил:

— Понятно.

— Ну, вот и хорошо.

— А только у меня теперь дома-то нет. Сожгли фашисты. А мы в овраге спим—натаскаем соломы, зароемся вниз—тепло. Корова у нас...

— Что же сделаешь, браток, надо потерпеть. Сам знаешь: терпи, казак—атаманом будешь.

— А я и ничего, не горюю,—уже веселее сказал он.

Мы проводили Николку за околицу.

— Ну, спасибо тебе, Коля. Ты—настоящий герой. Мы никогда не забудем, как ты помогал нам бить врага.

— Погодите, мы еще не так их будем бить!

Он повернулся, шмыгнул носом, ловко шаркнул по носу рукавом кожушка и бодро зашагал к лесу.

ДУМА СТАРИКА ДЕНИСА

Этот разговор происходил зимней ночью на конюшне одного из заволжских степных колхозов. В проходе, на полу, на охапках соломы сидело двое: дед Денис, еще крепкий и сильный старик с темным бронзовым лицом, изрезанным глубокими морщинами, и Юсуп—маленький, узкогрудый человек с ссохшимся детским личиком и реденькой клинышком бородкой. Свет фонаря «Летучая мышь» падал на хомут, лежащий на коленях деда, освещал его загрубелые большие пальцы, ловко действующие шилом и пряжей, на склоненную низко голову в бараньей шапке-ушанке. Все остальное—стойла, лошади, сложенное в углу за перегородкой сено, сидящий напротив деда Юсуп—тонуло в полумраке. Было слышно, как с громким хрустом лошади жевали корм, да за стенами конюшни, налетая порывами, протяжно выл ветер.

Только на-днях дед привел из города в колхоз племенного жеребца с государственной конюшни. А вся конюшня глубокой осенью была переведена почти за две тысячи километров с Украины сюда, в Заволжье. Юсуп—местный колхозник. Он чинит уздечку, слушает рассказ старика, вздыхает, изредка односложно поддакивает: «Знамо, конечно»...

— Я и говорю ему,—продолжал Денис,—сукин ты сын, немцы придут, все даром позабирают. Ты погляди на наших арабов, это же не кони, это золото. Сам Никита Сергеевич приезжал из Киева на них поглядеть.

Таких жеребцов искать да искать... А он свое—не могу, у меня все записано-прописано по книгам, если я тебе пуд овса дам—как же в книгу запишу. Ай, думаю, бес тебя задави. Не даешь?—Не даю. Иду прямо к партийным товарищам, в райком. Не веришь?

Юсуп понимающе кивнул головой.

— Зачем не веришь, правильно сделал.

— Прихожу к тем товарищам, а у них самая старшая женщина—Варвара Семеновна. Посадила меня на диван, обо всем расспросила. Я, конечно, все рассказал, как решили сначала податься к партизанам, потом пришел приказ—не отдавать госконюшню немцам, не оставлять им ни одного коня, ни одной повозки, изничтожить постройки и дома. Рассказал, как уходили потом из-под Киева, а над нами вился коршунячий выводок—самолеты фашистские и строчили из пулеметов, норовили прямо по коням. И мы все: и директор, и ветеринар, и жены их поседали на коней и верхами поскакали по дороге в лес. А на следующий день напоролись на немецкие танки, и

они двинулись на нас, ой, страсть! Кони наши ржали от страха и злобы, и мы мчались по лесу, аж ветер в ушах свистел, и танки нас не догнали. Вот в ту самую пору мы и разделились. Наш директор с ветеринаром ударились на Сумы, а я вышел с несколькими конюхами правее на Полтаву. И получилось, что остался я в эшелоне за старшего. Мои кони пришли в бедствие из-за недостатка корма, а директор совхоза отказался выдать овес. Про все рассказал Варваре Семеновне. «Не себе, говорю, прошу, за коней беспокоюсь, им терпеть никак нельзя без корма, они же племенные». Варвара Семеновна,—вот человек!—сейчас телефонную трубку и—директору совхоза: так и так, отпусти-ка ты, дружок, для стариковых коней овса, да отрубей. Что, не можешь? Об этом позже зайдешь, поговорим, а сейчас не тревожь меня — отпусти». Трубку вешает, говорит мне: «Иди, дед, получай на первый случай, а нынче вечером приходи в исполком, собрание будет большое, сессия. Там о конях твоих решим». Ладно. Ну, вот настает вечер. Прихожу в исполком. Большая комната, народу полно. За столом—президиум, там и Варвара Семеновна. Увидела меня, к себе манит, да рядом за стол посадила. Не веришь?

Юсуп охотно согласился:

— Все может быть. К нам председатель исполкома приезжал, ко мне в избу заходил, чай пил.

Дед перевертывает хомутину, осматривает ее со всех сторон, удовлетворенный работой поднимается, вешает высоко на гвоздь, в простенок между стойлами.

— Незаметно всю сбрую с тобой и починим. В колхозе дел много, людей других отрывать—ни к чему. Сами управимся.

Вернулся на прежнее место, поднял лежащую на полу порванную шлею, сел, начал ее сшивать.

— Сижу за столом, к людям приглядываюсь. И вот встает Варвара Семеновна и начинает за наших коней говорить: «Это же, говорит, бесценное государственное добро, и тому, кто спас его от немца и в тыл доставил, мы низко поклониться должны. Повертывается ко мне лицом, кланяется и говорит: «Спасибо, отец, что не жалел ты себя и на старости лет заботу и думу не о доме своем, а о конях государственных положил. Мы, говорит, поможем тебе. Пиши, председатель, выдать госконюшне тонну овса и сена»...

Юсуп поддакнул:

— Знамо, народ всякий бывает.

За перегородкой взвизгнули жеребята, раздался дробный стук копыт. Ветер шуршал соломой на крыше, под его напором тяжелые створчатые двери конюшни тягостно скрипели.

— Погода, а! И вот тогда же—на дворе осень, холод, дожди, куда мне с жеребятами деваться. Живу неделю, другую, овес есть, чего не жить. А фронт приближается. Наши уже Харьков оставили, надо дальше в путь-дорогу собираться. И вдруг телеграмма от директора конюшни из Воронежа. Нашелся! Вышел со своим эшелоном и меня разыскал. И все Варвара Семеновна, ой, молодец! По телефону в самый центр сообщила, что вот, мол, приблудился с племенными неоценимыми жеребцами старик Денис и с ним пять конохов. Куда их девать? А в центре уже бумажка от директора: оторвался, мол, от нас дед Денис с арабскими призовыми скакунами и сгинул. Пришел я напоследки к Варваре Семеновне, за ручку попрощался, поклонился низко. От имени коня, говорю, душевно благодарствую. Он только сказать не может, а все разумеет. Она руку пожимает, говорит: «Очень ты замечательный старик, тронул ты меня за самое сердце, больно хорошо про коней рассказываешь. Любишь ты, видать, их сильно». Славная была женщина покойница.

— Померла?—спросил Юсуп.

— Немцы как заняли село, повесили. Не успела уйти. Страшную смерть бедняга приняла. Как вспомню, так и сейчас еще сердце холодает, лютой злобой наливается. Изверги, что они с ней сделали! Мучили до той поры, что хрипеть перестала, а потом на ветлу против райкома вздернули. Из того села сторож колхозный бежал, нам все и рассказал... Ну, а мы как раз за неделю перед этим выехали. Коней привязали к повозкам на двух поводьях, как цыгане гонят—и в путь. Через три недели повстречались с директором. Увидел меня, бросился, обнимает, чуть не плачет от радости. «Жив, старик?».—Жив, говорю.—«А кони?».—И кони целы и невредимы. А у вас? У него, оказывается, тоже все в исправности.

Так своим ходом через шесть областей, за тысячу шестьсот километров и пригнали мы жеребцов к вам, на Волгу. Ехал я сюда, думал: господи боже мой, куда ты на старости лет плетешься, шестьдесят два года, умирать пора, так лучше остался бы на родной Украине, там и голову склонил. Чего ждет тебя в дальней стороне? Как бы не кони, кажется, бросил все. Эх, Юсуп, не знаешь ты, какие ветлы растут у нас над прудом, а около моей хаты три тополя стоят, так их со степи верст за семь видно. Бывало, весной в лунную ночь выйдешь во двор, а они будто молоком облиты, словно серебром повиты. Стоишь, дивуешься: что за красота на свете! Или летом, перед вечером, еще солнце высоко, еще жарко, а около моей хаты широкая, во всю улицу, тень, и люди сойдутся со всего хутора, сядут в кружок прямо на землю—и такая тут беседа начинается! А мои яблони! Сам высаживал. Как зацве-

тут в мае, так даже в груди стеснение. До чего же аромат! И белый цвет, и солнце, и пчелы гудят! Не уходил бы никогда. А в хату войдешь, чисто прибрано. На окнах занавески, кровать железная, в углу на столике — патефон. Сядешь за стол—и вареники со сметаной, и мед пчелиный, и яблоки, и сливы. Хорошо мы жили, богато, красиво жили. Было все так прочно, нерушимо, казалось, жизни такой конца не будет. И вдруг—на! Налетел ворюга, стал землю нашу поганить.

Приказ собираться получили поздно вечером. Вышел я ночью в сад. Тридцать лет выхаживал я его, каждую яблоньку знал, берег и ходил за нею, как за дитем. Вот эта с корявым стволом—была объедена зайцем и много хлопот доставила, а эту прошлой весной мороз хватил, осталась бесплодной, ну зато сейчас ветви висели на подпорках, гнулись, ломались! Редкий год выдавался такой урожай... За хутором в стороне шел бой, будто гром гремел. А в саду было тихо. Сердце мое старое стучало громко, его только и было слышно. И представилось: не сегодня—завтра придут сюда незваные гости, будут рвать яблоки, ломать сучья, разорят ульи. И такая меня горесть обуяла и обида на сердце пала. Чтоб пустить врага в свой сад!.. Позволить ему моим трудом попользоваться! Так нет же! Взял топор и все яблоньки да вишни в садочке порушил. Сам. Вот этими руками. Подойду к яблоне, а она, красавица, ветви распушила, стоит, не шелохнется. Подойду, рукой по стволу поглажу, поклонюсь в пояс, да топором под корень. Сам рублю, сам плачу. И яблоня плачет, стонет. Понимаешь, Юсуп, стонет.

— Зачем же рубил?

— Так я же говорю: чтобы немцу не досталось. Я и хату свою сжег и тополи мои серебряные обуглились. Черным пеплом покрылся хутор. Мы сказали себе тогда: пусть оскудеет земля и хлеба немцу не родит, пусть реки и озера высохнут и враг воды в пригоршне не зачерпнет, пусть проклятый изведется от жажды, с голоду подохнет, а зимой замерзнет в снегах и сугробах. И сожгли хутор. Поседали на коней и ускакали...

Дед умолк, продолжая проворно действовать шилом и дратвой. На деревне лаяли собаки, приглушенно закричал петух, ему отозвался другой, третий, началась предутренняя их перекличка.

— Спать пора, первые петухи уже.

Денис повесил на место шлею, Юсуп принес охапку свежей соломы, постелил на полу, прикрутил огонь в фонаре, легли.

— Ехал сюда, думал,—продолжал тихо Денис,—чужая сторона, как будем жить? Начались морозы, глубокий выпал

снег, а на мне одежонка плохонькая, на ногах ботинки. Ведь, с места трогались, еще было лето. Пропаду, думаю, замерзну. И вот на пути заехали в приволжский колхоз. Остановились ночевать у заведующего фермой. Мужик обходительный, все про нашу жизнь расспрашивал. Три сына у него на фронте. Поужинали, спать ложимся, хозяйка стелет на полу, спрашивает меня: «Укрываться есть чем?—Вот,—на пальто показываю,—весь достаток тут. остальное сжег.—Да как же это, да почему же это? Пришлось ей про хату, про яблони, да про все свое бытье рассказывать. Пожалели, поахали, дала она мне полушубок укрываться. Потушили огонь, полегли спать. Ночью проснулся, слышу—шепчутся: «Еще крепкий, на рукав латку положишь, поносится».—А валенки?.. Валенки на мне видишь, они дали, и полушубок—тоже они. Домну Степановну из того колхоза, как и Варвару Семеновну, — не забуду. Сжег я хату на Украине, сад зеленый своими руками порубил, землю оставил, ну, сдавалось, все теперь потерял. Думал родина—это только наш хутор, где рос, жил да состарился. Ну еще город ближний, куда на ярмарку ездил, да Киев с Днепром. А родина куда больше моего хутора. Село, где жила и смерть приняла Варвара Семеновна,—стало для меня теперь своим. И деревня над Волгой, где люди добрые валенки да полушубок дали,—тоже родная, и ваш колхоз, где сейчас живу, да, работаю. А земля! Она везде хорошая. Слышишь, Юсуп?

Тот не откликнулся. Дед прислушался к ровному дыханию Юсупа и укоризненно покачал головой. «Спит». Повернулся на другой бок, укрылся тулупом и вскоре тоже уснул.

Н. Корольков

ПОДВИГ

„При отступлении из одного села немцы взяли с собой старика-колхозника т. Спиридонова и заставили его указывать им дорогу. Спиридонов ночью завел немцев в глухой лес и заявил: „Дальше дороги не знаю, запамятовал". Фашисты-варвары расстреляли старика."

(Из газет)

Вот он лежит здесь, как живой,
Без шапки, на снегу багровом.
Вот подожок его ольховый
Торчит в сугробе под сосной.
Устало руки разбросав,
Старик задумался как будто.

Ни звука... Иней на глазах,
Как слезы, блещет перламутром.
Лениво кружится снежок
И тихо падает на деда.
Кругом ни тропок... ни дорог...
Ни вехи... ни жилья... ни следа.
Все лес да лес стоит кругом,
Пути пороша заметала.
Безлюдье... Тишь... Над стариком
Лишь кружит ворон одичалый.

Он знал, как дом свой, наизусть
Весь этот край лесов дремучих,
Где каждый камень, каждый куст
И каждый стебель был изучен.
Вот здесь в ложбине, за холмом
Он впервый раз увидел небо,
Вот там, за речкою, с отцом
Он убирал полоску хлеба.
Сюда вот, на широкий луг,
Дед пригонял коней колхозных
И этот лес, суровый, грозный,
Его всегда встречал, как друг.
Любую тропку дед умел
Найти сквозь заросли овражьи,
Он здесь родился, рос, старел
И здесь погиб от пули вражьей.

И вот лежит он, как живой,
Без шапки, на снегу багровом.
Вот подожок его ольховый
Торчит в сугробе под сосной.
Чернеет рана у виска,
Наморщен лоб его сердитый...
Да будет имя старика
Бессмертной славою покрыто!

И. Кипнис

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА

С первого взгляда, когда посмотришь на этих людей, может показаться, что это совершенно разные натуры—что она —главное лицо, заправила, а он молчаливый, податливый — «хочешь так—пусть будет так». Но такой вывод был бы слишком поспешным.

Правда, она производит впечатление человека с большим темпераментом, с неисчерпаемой энергией. Отведи ей угол на

пустыре, в шалаше или бараке—и в течение суток она превратит его в палаты.

А он—тихий, вдумчивый, скупой на слова. Зато какую согласную жизнь они ведут. За 28 лет еще не было случая, чтобы они из-за чего-либо поссорились, сердились, дулись друг на друга. Не было еще случая, чтобы кто-нибудь из них совершил поступок, который был бы не по душе другому.

Циля—их единственная дочь—доставила им немало огорчений. Она слишком молодой вышла замуж и совсем не так, как они хотели. Живет она далеко от них, изредка приходят письма, пишется ответ. Но даже в таком сложном вопросе у них не возникло разногласий, и ни один из них не пытался свалить вину на другого, как это часто бывает в семейной жизни.

Война заставила их покинуть свой дом, и вместе с заводом эвакуироваться сюда, на Волгу.

Он—из тех людей, цену которым быстро узнают и сразу начинают ими дорожить. Так было при первом их переезде в столицу Украины (сами они — коренные жители маленького местечка на Украине —Тетиев). То же повторилось и здесь.

Однажды Герш вернулся с завода, занятый какими-то мыслями. Постороннему, возможно, нелегко было бы узнать, что происходит в нем. Но Ида ведь читает в его душе, как в раскрытой книге. Ей сразу стало заметно, что в нем что-то бурлит, что-то закипает у него в мыслях. Ей, само собой разумеется, хотелось поскорее узнать, что с ним произошло. Но ведь надо дать человеку помыться и спокойно поесть. Еще не было случая, чтобы они утаили что-либо друг от друга.

Муж намылил оголенные до локтей руки. Ида ему поливает—это одна из тех добровольных обязанностей, которые она исполняет с удовольствием.

Посреди мытья муж поворачивает лицо с клинообразной бородкой в сторону жены.

— А знаешь, Ида, уже второй случай у нас на заводе, что люди забирают из детских домов ребятишек погибших родителей и усыновляют их.

Он смотрит на нее влюбленно и ждет—что-то она ему на это скажет. Не задумываясь ни на секунду, она отвечает своим не терпящим возражения голосом:

— Если они берут детей из детских домов, значит им живется не плохо.

Герш нахмурился. Он смыл мыло с обеих рук, вымыл лицо и уже с обычной своей сдержанностью ответил:

— Хорошо нам будет, когда война кончится, но сказать, что мы совсем уж плохо живем, тоже было бы неверно.

Ида стала оправдываться, что она не считает, что они плохо живут, пусть будет плохо разбойнику, куда бы он только не повернулся. И отодвинула кружку с таким шумом, что стало ясно, как бы досталось от нее проклятому Гитлеру, попадись он ей в руки.

С первого взгляда можно было подумать, что обед пройдет в молчании, но не так то оно было на деле. Герш первый нарушил молчание.

— Мне представляется,—начал он,—если бы здесь в комнате бегал какой-нибудь мальчик, вся наша жизнь стала бы другой.

— А почему мальчик? Почему не девочка? Очень мне нужно, чтоб он мне здесь дом перевернул вверх ногами.

— Против девочки я тоже ничего не имею,—он зачерпнул полную ложку супу, и суп сразу показался ему в семь раз вкуснее.

Но Ида—лицо ее попрежнему нахмурено и сосредоточено. Может быть она собой недовольна, а возможно, что ее недовольство распространяется и на него. Обиднее всего вот что,—появляется какая-нибудь серьезная идея, предстоит важный шаг в жизни, так у него в голове решение созревает скорее, чем у нее.

— У тебя уже решено?—пробормотала она, не глядя на него. А мне еще нужно подумать.

— Ида, сердце! Как можно не думать!—ответил Герш.

И какая-то торжественность была в его голосе.

— Это очень серьезный шаг в жизни. Скажу тебе больше—даже к этому необходимо иметь счастье.

Спать они отправились по обыкновению в начале двенадцатого. Укладываясь, Герш опять завел свое:

— Ида, сердце, в связи с тем, что ты говоришь—девочку, а я мальчика...

— Я так и знала, нечего тебе уже договаривать,—перебила его Ида,—как будто я не помню—еще в Тетиеве, когда я посылала тебя купить кило яблок—ты тащил полпуда.

— Ида, жизнь моя,—улыбнулся Герш всем лицом.—Удивительно, как ты хорошо меня знаешь. Точно прогулялась с фонарем у меня в душе.

— А что, разве я не знаю! Тебе хотелось бы и мальчика и девочку.

— Ну да, мы ведь не станем от этого беднее.

— Ну хорошо, хорошо! Так я и наведу сюда полный дом мальчиков и девочек. Может еще помещение специальное нанять для них. Иди, иди уже спать. Ты завтра не сможешь встать во-время.

Она его укрыла, как привыкла это делать годами, и засмеялась тихим смехом: «как это родятся на свет люди такой доброты».

В воскресенье, когда у Герша был выходной день, они оба отправились в детский дом, и там Ида была окончательно побеждена. Она, действительно, готова была увести отсюда побольше мальчиков и девочек. Лишь бы ей только позволили. Но она не давала воли своим чувствам. Она держала над ними крепкий контроль:—девочку, одну девочку и только.

А девочка эта сразу и выплыла. Зоя Гимельфарб. Три с половиной года. Такого ребенка она, кажется, всегда рисовала себе в лучших своих мечтах: короткий точеный носик, маленький ротик с грошик величиной, светлые мягкие волосы и пара больших ясных глаз с загнутыми ресницами.

Если бы не чужие люди, которых Ида стеснялась, она схватила бы девочку на руки и осыпала бы ее поцелуями.

В большом зале играло 15—20 ребятишек. Все—привезенные из Украины и Белоруссии. Обо всех, кроме двух-трех, уже известно, кто они, чьи, при каких обстоятельствах погибли их родители...

Вот Анна Антоновна взяла Зою за ручку и тихо спросила:

— Ты хочешь пойти с мамой домой? Вот мама пришла за тобой.

Зоя наклонила головку на бок, раскрыла маленький ротик, долго, долго смотрела в сторону Иды и точно так же долго молча и застенчиво кивала головой—да.

Ида сочла это хорошей приметой и ее еще больше потянуло к ребенку. Она даже досадовала, что они пока должны уйти без дочки—еще предстоит выполнить целый ряд формальностей. К ним пошлют домой сотрудницу, узнать, в каких условиях живут «родители», затем нужно представить справку и рекомендацию с места работы, свидетельство от врача и т. д.

Герш обещал все это доставить. В эту минуту свет из большого окна упал на мальчика, который все норовил взобраться пятилетнему бутузу на плечи. На Иду повеяло чем-то знакомым и она не поленилась вернуться и спросить Анну Антоновну об этом ребенке.

— Этот мальчик с Украины. Отец и мать его были убиты при налете на эшелон, которым они уезжали. Константин Павлович Ничепорук, уроженец маленького местечка на Украине, может вам приходилось слышать—Тетиев.

— Ой! Ой! Ой!—вскрикнула Ида не своим голосом и опустилась на ближайший стул, закинув голову, как будто ее ударили чем-то тяжелым.

— Это Наталкин!—ее лицо искривилось от боли, когда она обратилась с этими словами к мужу.—Когда мы выезжали оттуда, ему еще года не было... Костя, Костенька... Это наш мальчик! Этот мальчик тоже наш—заявила она Анне Антоновне, которая испуганно стояла над ней со стаканом воды в руке.—Умоляю вас, пришлите скорее кого нужно, и проделайте все, что нужно, хочется иметь детей у себя дома.

И чтобы не расплакаться перед чужими людьми, она порывисто выбежала на лестницу.

Ида эту ночь плохо спала. Наталка не выходила у нее из головы.

Они жили рядом. Между их дворами был низенький редкий забор.

Ходили они друг к дружке, конечно, не в ворота, а через перелаз, который они устроили в заборчике.

Тогда еще, когда Ида тяжело болела и пролежала 6 месяцев, как один день, Наталка не выходила из Идиного дома. Герш выбивался из сил. Врачи наблюдали за ней, а Наталка помогала, чем только могла. Она помнит, как Наталка камфорой натирала ей больную руку, плечо, грудь и спину и делала это с такой легкостью, с такой любовью, на которую способен только самый близкий человек. А теперь—как ей допустить, что Наталки уже больше нет? А Павел? Тоже такой тихий, благородный человек. Люди только собирались жить...

Мысленно она уже прижимала маленького Костю к своей груди. Он сладко спит за несколько улиц отсюда рядом с такими же оторванными ростками... только что отлученными птенцами...

Герш повернулся на своей постели.

— Ида, ты не спишь?

— Спи, спи,—ответила она ему,— тебе показалось.

— Нет не показалось, ты уже давно не спишь,—и он задремал опять.

Долгих два дня Ида не знала покоя. Герш делал все, что от него требовалось. Наконец, все бумаги были готовы и она повела обоих ребят домой.

Воспитательницы и руководительницы детского дома провожали их до ворот и обещали наведываться.

Ида отвечала им что-то, вся охваченная каким-то неведомым ей до сих пор нетерпением.

«Можете приходить и не приходить — мне сейчас не до этого». Вот какой был бы ее прямой ответ.

Она вышла на улицу, ведя обоих ребят за ручки, и ей казалось, что ради такого момента ей следовало бы ехать, везти их на дрожках... в коляске... А может, нести на руках... Надо полагать, что никто не станет их у нее теперь отнимать... А впрочем!.. Вдруг кто-нибудь подойдет и спросит: «Чьи это дети?». А что? Она разве воровка, ворующая чужих детей?

Теперь только она видит, что поступила нехорошо. Зачем она допустила такую спешку? Могла же она рассчитать так, чтобы итти вместе с Гершем во время перерыва или после работы.

И еще... Еще одного человека здесь нехватает... Это Циля... Бывают считанные моменты в жизни, когда даже у поссорившихся нельзя отнять право присутствия.

Вот такие мысли, одна причудливее другой, заставили Идино сердце биться сильнее.

Она, действительно, выглядит очень странно, поспешая, таща за ручки обоих ребят по утренним улицам мало знакомого ей города.

— А ведь я могла поехать с ними в трамвае! С такими детьми пускают с передней площадки,—подумала Ида рассеянно, когда в этом не было уже никакой необходимости.

Как бы там ни было, но вот она уже у цели и сама не знает, чего ей больше желать: чтоб соседи были дома и видели, как она переступает порог со своим новым богатством, или, наоборот,—чтоб никого не было дома. И чтоб она осталась одна со своими чувствами.

Совершенно неожиданно она застала Герша дома.

— На, возьми, я сейчас.—И Ида ткнула ему поспешно ручки детей, а сама выскочила из комнаты.

Несмотря на то, что бессонными ночами Ида часто мысленно беседовала с погибшей Наталкой, как и другой молодой матерью (которую она не знала), она с каждым днем сама все больше становилась матерью.

Герш никому не сказал, что его спокойствие несколько нарушилось, и что действительность немножко отличается от мечты. Это вовсе не означает, что он раскаивался в том, что они сделали, или что ему это казалось не под силу.

Нет, когда Зоя, тихонечко подкравшись к нему, обхватывала его шею, а Костик, глядя на нее, подбегал и обнимал его колени, сердце его заливала теплота и в нем поднималось и росло сознание ответственности, которая лежит сейчас на людях в тылу.

Но все это капля в море по сравнению с той постоянной, требовавшей неусыпного труда заботой о детях, которой была переполнена Ида.

Ребята не отходили от нее. Они расцвели у нее на глазах. Но она притворялась, что не замечает этого. Женщина остается женщиной. Она суеверно боялась, как бы не накликать какой беды.

Не раз, сидя вечером возле спящих детей (Герш уходил в ночную смену), ловила она себя на том, что напевает тихо песенку, которую пела когда-то ее бабушка, песенку с заунывным, протяжным мотивом:

Упав чумак, упав чумак,
Упав та лежыть,
Никто його не пытае,
Що йому болыть...

(На чужбине бедный... один одинешенек). Ее тоже никто не спрашивает, что у нее болит, но она знает, ее болезнь — это война. Скорая погибель разбойнику этому! Чтоб Герш остался жив...

Вот же они спят оба, чтоб не сглазить, такие родные и светлые. Дети малые—мальчик и девочка...

(Перевод с еврейского).

Саратовское областное государственное издательство. 1943

Отв. редактор *Е. Трощенко* Корректор *З. Чуднова*

НГ22044. Подписано к печ. 25/I 1943. Тираж 10000. Уч.-изд. л. 4,2. Печ. л. 4. Знаков в бум. л. 82000 Цена 1 р. 50 к.

Саратов. Типография № 1 Полиграфиздата.